**ФОРМИРОВАНИЕ: ПРЕЕМСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛ В ПЕРВЫЕ ДВЕ ТРЕТИ XIX В.**

|  |
| --- |
| 1. Русское общество и античность в первые десятилетия ХIХ в. Явление неоклассицизма 2. Начало археологических изысканий в Северном Причерноморье 3. Академическая кафедра классической филологии 4. Университетская наука об античности. М.С.Куторга и его школа |

1. Русское общество и античность в первые десятилетия XIX в. Явление неоклассицизма

**[112]** Окончательное оформление русского антиковедения в науку происходит в 1-й половине XIX в. Этот процесс совершался под воздействием целого ряда факторов, важнейшими из которых были: во-первых, археологические открытия на юге России, доставившие исследователям классической древности новый обширный материал; во-вторых, продолжающееся перенесение на русскую почву и усвоение русскими учеными приемов и методов западной, главным образом немецкой, классической филологии; в-третьих, знакомство с новейшей европейской философией, чьи идеи оплодотворили науку об античности и спасли ее от омертвения.

Однако быстрым и, как мы увидим, значительным успехам русского антиковедения в первые десятилетия XIX в. способствовали не только эти частные моменты, но и исключительно благоприятная общая обстановка. Освежающее дыхание Французской революции, мощный патриотический подъем 1812 г., выступление декабристов - все это породило в начале века совершенно особую общественную атмосферу, всю пронизанную высокими гражданскими стремлениями и героическими настроениями. Отсюда - увлечение античностью, особенно античной героикой, столь характерное для русского общества начала XIX в.

Замечательным было то, что это было увлечение совсем иного рода, чем в предшествующее столетие: иные идеалы воодушевляли теперь людей, иными интересами обусловливалось и их обращение к античности. Идеологов "просвещенного абсолютизма", с их рационалистическим и несколько абстрактным культом государства, и в античности интересовала прежде всего государственная проблема. При этом идеальной формой оказывалась монархия Александра или Юлия Цезаря, а образцовым героем - сильный и просвещенный **[113]** правитель. Иных идеалов искало для себя в античности новое поколение, предчувствовавшее и понимавшее необходимость дальнейших преобразований в стране: абстрактный интерес к античному государству сменился более живым и внимательным отношением к древнему обществу, от монархии взоры обратились к древним республикам, а образ сильного властителя должен был уступить место более привлекательной фигуре свободного гражданина. В литературе и в искусстве на смену холодному, подчас жеманному любованию классическими формами пришло горячее и искреннее преклонение перед гражданской доблестью древних, пробудился интерес к жизни и быту свободных городских общин древности.

Ближайшим образом эти изменения в отношении к античности были связаны с вытеснением традиционного классицизма новыми литературными и художественными направлениями - сентиментализмом и романтизмом. Именно в них, если мы возьмем культурную часть общества, нашел свое выражение на рубеже XVIII и XIX вв. протест против идеологического гнета феодально-абсолютистского государства. Сначала сентиментализм с его лирикой чувств, с его исключительным вниманием к душевным переживаниям человека, выразил, в мягких еще и неопределенных формах, несогласие с давящими нормами классицизма. Романтизм, подхватив эти лирические настроения, дополнил их стремлениями, впрочем тоже еще неопределенными, к светлым гражданским идеалам, пылкими мечтаниями о свободном и гармонически развитом обществе. Таким образом был осуществлен разрыв с основными принципами классицизма, требовавшего полного и безусловного подчинения личности абсолютистскому государству. Однако это расхождение в области этики вовсе не означало такого же полного разрыва и с эстетическою основою классицизма, т. е. с античностью. Напротив, переход от классицизма к романтизму свершился вполне на почве античности, только по-новому воспринятой и интерпретированной.

Разумеется, это новое, т. е. более живое, более непосредственное и в конечном счете более полное восприятие античности обнаружилось не сразу же, и не везде оно проявилось одинаковым образом: в архитектуре это обозначилось иначе, чем в изобразительном искусстве, а в художественной литературе не так, как в публицистике. Однако самый факт нового восприятия античности не подлежит сомнению; достаточно будет нескольких примеров, чтобы показать **[114]** существенный характер происшедших перемен.

Русская архитектура - начнем с нее, ибо где как не в монументальном искусстве должен найти свое конечное выражение общий стиль эпохи, - русская архитектура XIX века на первых порах продолжала оставаться на почве классицизма, столь же широко используя античные формы, как и в предшествующее столетие. Однако знакомые уже элементы классики были привлечены теперь для воплощения новых идей и новых настроений. С особой отчетливостью эти новые веяния отразились в архитектуре Петербурга: общественный пафос первых десятилетий XIX в. нашел здесь свое выражение и в мощном разлете крыльев Казанского собора, построенного по проекту А. Н. Воронихина, и в стройных, величественных композициях А. Д. Захарова (Адмиралтейство) и Тома де Томона (Биржа), и в изящных, романтически приподнятых ансамблях К. И. Росси (здание Главного штаба с его знаменитой аркой, Михайловский дворец, Александринский театр и др.). Одновременно в теплых тонах воронихинского интерьера в Павловском дворце, в задумчиво-грустном облике мавзолея "Супругу Благдетелю", возведенного Тома де Томоном там же, в Павловске, чувствуется новое отношение к духовной жизни человека, возросшее внимание к миру его личных переживаний.

Этот же процесс переосмысления классических традиций можно проследить и в изобразительном искусстве. В скульптуре, наряду с традиционными отвлеченно-аллегорическими композициями В. И. Демут-Малиновского и С. С. Пименова (скульптурное оформление Горного института, отчасти Адмиралтейства, а также многих ансамблей Росси), появляются новые произведения, более непосредственно передающие чувства и настроения людей. Гражданский пафос эпохи нашел отражение в замечательном творении И. П. Мартоса - памятнике Минину и Пожарскому в Москве: условная символика античных форм здесь использована для выражения современной героической идеи. Темам народно-освободительной борьбы посвящены и такие, например, связанные с Отечественной войной 1812 года, произведения, как статуя "Русский Сцевола" того же Демут-Малиновского или серия медальонов Ф. П. Толстого, каждый из которых представляет подлинный шедевр скульптуры малых форм. В то же время в произведениях ряда мастеров отчетливо звучит и другая тема - лирическая: силу и глубину человеческой скорби стремится передать в аллегорических фигурах своих надгробий **[115]** Мартос, мягким лиризмом овеяны некоторые из античных композиций Б. И. Орловского ("Фавн с цевницей", "Сатир и вакханка").

В живописи новые веяния сказались, в частности, в обращении художников академической школы к большим историческим темам, связанным с критическими, переломными моментами в жизни народов. Эпоху в этом отношении составила знаменитая картина К. П. Брюллова "Последний день Помпеи" (1830 - 1833 гг.). Впервые в русской исторической живописи объектом изображения стала не отдельная, пусть даже знаменитая личность, а судьба целого города, судьба народа. Трагический колорит этой картины был близок тем настроениям, которые охватили русское общество в конце 20-х и в начале 30-х годов XIX в. Вместе с тем современники вполне оценили ту близкую их сердцам романтическую одухотворенность, которая пронизывала это классическое произведение. В известном стихотворном отклике, который приписывается Е. А. Баратынскому, с картиною Брюллова прямо связывалось рождение новой русской живописи:

|  |
| --- |
| И был последний день Помпеи Для русской кисти первый день!.. |

Впрочем, дыхание нового времени ощущается не только у Брюллова, но и у других представителей академической школы, даже у такого, казалось бы, консервативного художника, как Ф. А. Бруни: его раннее произведение "Смерть Камиллы", очевидно, в какой-то степени навеяно героическими настроениями начала века, и даже "Медный змий" - при всей реакционности основной идеи - характерен именно обращением к проблеме великих народных потрясений. Но, бесспорно, наиболее замечательным является пример А. А. Иванова. В творчестве этого художника мы наблюдаем последовательную смену этапов: чистый, парадный классицизм ученических картин, таких, например, как "Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора", уступает место сознательным стремлениям оживить академическое полотно, вдохнуть в него подлинное тепло человеческой души. Так появляется лирическая композиция "Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой". И наконец, завершающий этап - монументальное творение "Явление Христа народу" (1837 - 1857 гг.), где традиционный классический сюжет послужил основой для развития большой философской темы о нравственном обновлении народа, темы тем более значительной, **[116]** что она перекликалась с вопросами, которые ставила, но еще не могла решить русская интеллигенция середины прошлого века.

Заметное в искусстве, это переосмысление классических традиций выступает еще более ярко в литературе. С утверждением здесь нового, сентиментального направления (особенно в лице Н. М. Карамзина) были заложены основы и для нового восприятия античности. Много сделали в этом отношении - в смысле практического истолкования античности с новых позиций - поэт Михаил Никитич Муравьев (1757 - 1807 гг.) и ученый археолог Алексей Николаевич Оленин (1763 - 1843 гг.), оба большие любители и знатоки классической древности.1 Занимая высокое положение в обществе (Муравьев был воспитателем будущего императора Александра I, затем товарищем министра народного просвещения и попечителем Московского университета, Оленин - директором Публичной библиотеки и президентом Академии художеств), они всячески содействовали занятиям классической древностью, пропагандируя античное искусство и литературу, покровительствуя начинающим ученым, писателям и художникам. Дом Оленина был в начале XIX в. одним из самых крупных литературных салонов в России. Хозяин отличался широтою взглядов и терпимостью, и потому здесь можно было встретить писателей самых различных направлений: и ревнителей старины типа А. С. Шишкова, и зачинателей новейшей литературы - Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского. Однако "среди разнобоя господствовавших здесь настроений" отчетливо выделялось одно, которое и определяло собою лицо оленинского кружка: это - преклонение перед античностью, понятою вслед за Винкельманом и Лессингом.2 Неоклассицизм, спаянный с элементами сентиментализма, стал основой творчества таких замечательных поэтов - друзей Оленина, как В. А. Озеров, чьи драмы пользовались тогда огромным успехом, и более молодой К. Н. Батюшков; из оленинского же кружка вышел и переводчик Гомера - Н. И. Гнедич.

Особый интерес и симпатии вызывает творчество Батюшкова, **[117]** который, "по блеску своего изящного и тонкого таланта... прямо стоит во главе поэтов промежуточного периода между Державиным и Пушкиным".3 Как и поэты предшествующего столетия, Батюшков широко заимствует формы и образы для своей поэзии из арсенала классической древности, однако это заимствование совершается им в иных целях и выражается в иных формах, чем у его предшественников. Батюшков внес в условный мир поэзии классицизма новые, лирические мотивы; темы любви, дружбы, поэтических мечтаний становятся главными в творчестве этого поэта; они находят свое выражение в задумчивых элегиях, в изящно составленных дружеских посланиях. Разработка этих новых жанров - большая заслуга Батюшкова. "Посвятив себя "легкой поэзии", он убил вкус к высокопарности, а русский стих освободил от цепей державинской тяжеловесности, придав ему грацию и простоту".4 В этом смысле Батюшков (наравне с Жуковским) - необходимое звено между державинскою и пушкинскою эпохами. Вместе с тем Батюшков познакомил русских читателей с новыми сторонами античной поэзии - не только через свои оригинальные стихотворения, но и более непосредственно, своими переводами элегий Тибулла и стихотворений из греческой антологии.

От Батюшкова в значительной степени унаследовал свое увлечение античностью и Пушкин.5 Впрочем, знакомство Пушкина с классической литературой началось очень рано: еще в доме своего отца, до поступления в Лицей, он прочитал во французском переводе биографии Плутарха и обе поэмы Гомера. В Лицее, под руководством ученого классика Н. Ф. Кошанского, Пушкин сильно расширил свои знания об античном мире и его литературе. Не без влияния Батюшкова он увлекается легкой поэзией древних; певцы любви, веселия и наслаждений - Гораций, Овидий и особенно Анакреонт **[118]** (разумеется, не настоящий, а в позднегреческой интерпретации) становятся любимыми поэтами молодого Пушкина. Позднее, в годы вынужденного пребывания на юге, он зачитывается печальными элегиями Овидия, в судьбе которого находит много общего с собственною. В ссылке в Михайловском, под впечатлением общественной обстановки в России, он обращается к истории Римской империи и внимательно изучает труды Тацита - этого, по его словам, "бича тиранов".6

В последующие годы Пушкин неоднократно обращается к античности, черпая оттуда сюжеты, образы, источники вдохновения. Верный своим прежним симпатиям, он выполняет в начале 30-х годов целую серию замечательных переводов: из Анакреонта ("Узнают коней ретивых", "Поредели, побелели", "Что же сухо в чаше дно"), Катулла ("Мальчику"), Горация ("Царей потомок, Меценат", "Кто из богов мне возвратил"), из греческой антологии ("Подражания древним": Ксенофану - "Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают" и Гедилу - "Славная флейта, Феон, здесь лежит"). Тогда же, в дополнение к прежним своим поэтическим опытам на темы античности, таким, например, как лицейские "Леда", "Гроб Анакреона", "Фиал Анакреона", "Фавн и пастушка" или позднейшие "Торжество Вакха", "Прозерпина", "Клеопатра" и пр., Пушкин задумал написать большую повесть из римской жизни, в которой прозаический рассказ о последних днях Петрония перемежался бы стихотворными отрывками - переводами из древних и собственными оригинальными композициями (например, о тех же "египетских ночах" Клеопатры). Это произведение, навеянное чтением Тацита и Аврелия Виктора, осталось, к сожалению, незаконченным.

Вообще увлечение классической древностью наложило сильнейший отпечаток на творчество Пушкина. Однако, говоря об этих увлечениях поэта, мы не должны забывать, что античность доставляла ему не только пищу для эстетических наслаждений; часто обращение к античному сюжету служило лишь поводом для выражения вполне современной идеи. Достаточно напомнить о таких, полных политического смысла стихотворениях, как "Лицинию" и "Арион". Классическое оформление этих произведений в такой же степени обусловлено традицией, как и цензурными соображениями. **[119]** Но чаще мы наблюдаем органическое вхождение элементов классики в творчество Пушкина: знаменитый тому пример - пушкинский "Памятник", продолжающий собою ряд свободных переложений Горациевой оды.

Отражение интереса, который общество испытывало тогда к античности, можно обнаружить не только в художественной литературе, но и в публицистике. В журналах и отдельными изданиями беспрестанно публиковались всевозможные "взгляды" и "рассуждения" на темы классической древности, как правило, весьма популярного характера. Часто эти обзоры принадлежали перу известных писателей, которые таким образом, апеллируя к античности, стремились дать обоснование своим художественным и политическим симпатиям. Значение лучших из этих сочинений состояло не в их конкретных оценках, чаще своего почерпнутых из работ новейших западных ученых, а в общем, более живом и непосредственном, чем в предшествующее столетие, отношении к античности. С этой точки зрения симптоматичными являются художественные обзоры Батюшкова (в его статье "Прогулка в Академию художеств" [1814], в некоторых из заграничных писем): не холодным любованием, но искренним и глубоким чувством продиктованы его восторженные отзывы об античном искусстве. Тесно связана с общим отходом от эстетических позиций классицизма литературная полемика 1813 - 1818 гг. о способах перевода древних эпических поэтов: Я. А. Галинковский, С. С. Уваров и Н. И. Гнедич своими статьями, а Гнедич также и своими переводами, обосновали полную возможность и желательность замены александрийского стиха, воспринятого от французов, русским гекзаметром, близко передающим ритмическое течение подлинника.7 Наконец, в высшей степени показателен возросший интерес к гражданской истории древних. В качестве примера можно указать на статью И. М. Муравьева-Апостола о заговоре Катилины. Автор - известный литератор и государственный деятель, отец будущих декабристов - вполне разделяет отрицательное отношение своих источников к Катилине, видя в нем врага, а в Цицероне - защитника республиканских свобод.8

Сколь сильным было в ту пору в передовых кругах русского **[120]** общества увлечение античностью, сколь велико было преклонение перед гражданской доблестью древних, показывает пример декабристов.9 Политические убеждения первых русских революционеров во многом складывались под влиянием античной литературы: Плутарх, Корнелий Непот, Тит Ливий и Тацит, в чьих произведениях можно было найти немало прекрасных рассказов о мужестве древних республиканцев, с детства были любимыми писателями декабристов. П. И. Борисов, один из руководителей Общества соединенных славян, признавал на следствии: "Чтение греческой и римской истории и жизнеописания великих мужей Плутарха и Корнелия Непота поселили во мне с детства любовь к вольности и народодержавию".10 Об этом же увлечении античностью вспоминал позднее И. Д. Якушкин: " ... мы страстно любили древних. Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами".11 Эти увлечения наложили яркий отпечаток на все творчество писателей-декабристов. В их поэзии идеальный герой - тираноборец нередко заимствован из мира классической литературы. Цицерон, спасший Рим от Катилины, "враг царей" Катон, неукротимые республиканцы Брут и Кассий - любимые образы К. Ф. Рылеева (см. его стихотворения "К временщику", "Гражданское мужество", "Гражданин"). Подвигу коринфянина Тимолеонта, освободившего сограждан от тирании собственного брата - Тимофана, посвятил свою трагедию "Аргивяне" В. К. Кюхельбекер.

В публицистике декабристов примеры и сравнения, почерпнутые из греческой и римской жизни, фигурируют не менее часто, чем в поэзии. При этом встречаются целые рассуждения на темы древней истории, подчас не лишенные оригинальности. Замечательны, по глубине и основательности, мысли, высказанные Н. М. Муравьевым в его записке об историческом труде Н. М. Карамзина. Возражая Карамзину, который не видел "разности" между политическими распрями древних греков - этих "полутигров", единственное преимущество которых состояло в том, что они "изъяснялись языком Гомера" - и усобицами русских князей, Муравьев писал: "Я нахожу некоторую разность. Там граждане сражались за власть, в которой они участвовали; здесь слуги дрались по прихотям господ **[121]** своих. Мы не можем забыть, что полутигры Греции наслаждались всеми благами земли, свободою и славою просвещения".12 Равным образом, в противоположность Карамзину, который приписывал падение Рима одной лишь причине - нашествию варваров, Муравьев обращал внимание на внутренние обстоятельства, указывая, что гибель Римского государства была исподволь подготовлена постепенным внутренним разложением, в особенности после того, как "хитрый деспот Август навеки потушил пламенник свободы".13

Для некоторых декабристов античность становилась иногда предметом и более специальных занятий. Так, еще в конце 10-х годов занимался переводами древних авторов Ф. Н. Глинка; им было опубликовано несколько характерно подобранных отрывков из Тита Ливия и Фукидида (на военно-патриотические темы)14 и из Лукана (о Катоне Младшем).15 В чтении античных авторов, в занятиях древней историей часто искали для себя утешения ссыльные декабристы: А. Ф. Бригген, например. переводил записки Цезаря, Д. И. Завалишин - Фукидида и Тацита, А. О. Корнилович - Тита Ливия и того же Тацита, М. С. Лунин работал над сочинением "о религиозных верованиях греков по Гомеру". Из этих трудов ссыльных декабристов сохранился только один - перевод Цезаря, выполненный А. Ф. Бриггеном, но, к сожалению, и он остался неопубликованным (рукопись хранится в Публичной библиотеке, в Петербурге).16

Сказанного в общем вполне достаточно, чтобы судить о литературных вкусах эпохи, о том, насколько сильным было в ту пору у русских поэтов и публицистов увлечение античностью. Тем не менее картина будет неполной, если мы не упомянем о деятельности тех литераторов - страстных любителей древней словесности, для которых переложение греческих или латинских авторов на русский язык становилось предметом особых забот, иногда - главным делом жизни. Здесь прежде всего надо назвать имя Ивана Ивановича Мартынова (1771 - 1833 гг.), видного деятеля в области просвещения, издателя и переводчика, чья литературная карьера началась **[122]** еще в 90-х годах XVIII в.17 Большой знаток древних языков, энтузиаст и неутомимый труженик, Мартынов в 20-х годах XIX в. задумал и осуществил, не взирая ни на какие трудности, грандиозное предприятие: с 1823 по 1829 г. он издал 26 томов своих переводов с греческого в виде единой коллекции "Греческих классиков". В эту коллекцию вошли: Эзоп, Каллимах, Софокл, Гомер ("Илиада" и "Одиссея"), Геродот, Лонгин (приписываемый Лонгину трактат "О возвышенном", или, как значится у Мартынова, "О высоком"), Пиндар и Анакреонт - все переведенные прозой, снабженные комментариями, подчас весьма подробными, и изданные вместе с греческим текстом. Мартынов - писатель старого поколения; его переводы, обильно уснащенные славянизмами, полные архаических выражений и оборотов, были сурово оценены литературными критиками - современниками Жуковского, Батюшкова и Пушкина; однако для среднего читателя, особенно в провинции, издания Мартынова без сомнения явились важным пособием для ознакомления с литературою и историей древнего мира.

Много сделали для популяризации классического наследия в России и такие известные в свое время литераторы из числа ученых словесников, как профессор Московского университет Алексей Федорович Мерзляков (1778 - 1830 гг.) и его ученик, лицейский наставник Пушкина, Николай Федорович Кошанский (1781 - 1831 гг.).18 Оба обладали не только знаниями, но и поэтическим дарованием и охотно переводили древних поэтов.19 Кошанский, кроме того, известен **[123]** как составитель популярных пособий по латинскому языку и как издатель переводных руководств по греческим и римским древностям и классической литературе.20

Но особое значение имела деятельность другого ученика Мерзлякова - Николая Ивановича Гнедича (1784 - 1833 гг.), выдающегося поэта, обессмертившего свое имя переводом гомеровской "Илиады".21 Обращение Гнедича к героическому эпосу древних не было случайностью: оно стояло в тесной связи с общественными настроениями 1-й четверти XIX в. Над своим переводом Гнедич работал свыше 20 лет, с 1808 по 1829 г. По мере того, как дело подвигалось вперед и в печати появлялись очередные песни "Илиады", труд Гнедича приобретал общественное значение, особенно в преддекабристский период 20-х годов. Но, конечно, это значение определялось не только героическим характером переводимой поэмы, но и мастерским выполнением перевода. Вначале, по примеру Кострова, Гнедич переводил Гомера рифмованными александрийскими стихами, однако, недовольный тем, что у него получалось, он после долгих поисков обратился, наконец, к гекзаметру и здесь добился замечательного успеха. Основания этого успеха коренились, однако, не только в искусном применении гекзаметра, - этот размер "сам по себе, в виде голой ритмической схемы, еще не был гарантией удачной передачи Гомера или иных древних авторов",22 - но и в особом, приподнято-торжественном стиле, специально выработанном Гнедичем для перевода Гомера. Все это - и напевный размер стиха, и своеобразный архаизирующий стиль - как нельзя лучше передавало величавую простоту древней эпической поэмы. Прекрасный в художественном отношении, перевод Гнедича отличался в то же время большой точностью, глубоким проникновением в сокровенный **[124]** смысл подлинника.

Историческое значение труда Гнедича бесспорно: "своей "Илиадой" Гнедич приоткрыл русскому читателю подлинное, неприкрашенное лицо Гомера".23 Не все современники поэта оценили огромность совершенного им подвига, однако истинные ценители поэзии почувствовали это сразу же:

|  |
| --- |
| Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; Старца великого тень чую смущенной душой, - |

- так выразил свое впечатление Пушкин по прочтении гнедичевского перевода Гомера. "Гнедич умел сохранить в своем переводе отражение красок и аромата подлинника", - писал В. Г. Белинский. "Перевод Гнедича - копия с древней статуи, сделанная даровитым художником нового времени, а это великий подвиг, бессмертная заслуга!"24

Гнедич собирался также заново перевести и другую гомеровскую поэму - "Одиссею", однако не успел; эту задачу выполнил (уже в 40-х годах) другой русский поэт - Василий Андреевич Жуковский (1783 - 1852 гг.).25 Его перевод - также гекзаметрический, но не столь точный, как у Гнедича (Жуковский не знал греческого языка и переводил с немецкого подстрочника); к тому же на всем переводе лежит сильнейший отпечаток поэтической манеры самого переводчика, который часто стилизует текст подлинника в собственном романтическом вкусе. Все же "Одиссея" Жуковского - великолепное произведение: хотя с тех пор появились и другие переводы "Одиссеи", миллионы русских читателей именно по этому высокохудожественному, хотя и несколько вольному переложению Жуковского продолжают знакомиться с увлекательными странствиями царя Одиссея.

Новый перевод Гомера, осуществленный Гнедичем и Жуковским в 1-й половине XIX в., явился важным событием в литературной жизни России; вместе с тем он означал огромное достижение в **[125]** освоении культурного наследия античности. Новая версия Гомера - в особенности гнедичевский перевод "Илиады" - воочию показала, сколь сильно изменилось восприятие античности по сравнению с предшествующим столетием. Прежнее приукрашенное, искусственно рационализированное толкование классической древности более не удовлетворяло; на смену этому традиционному, первоначально выработанному в абсолютистской Франции, а затем развившемуся и в России, классицизму, или, как его стали позднее называть, ложноклассицизму, явилось новое направление - неоклассицизм. Программа этого направления, сводившаяся к требованию прямого, непосредственного, "нефальсифицированного" (т. е. свободного от классицистической интерпретации) изучения античности, была сформулирована в 10-х годах XIX в. в статьях И. М. Муравьева-Апостола, Н. И. Гнедича, С. С. Уварова и др.

Разумеется, нельзя отрицать, что в известном отношении русский неоклассицизм был всего лишь "отголоском европейских настроений, выразившихся в деятельности Лессинга, Винкельмана и Вольфа, во Франции - в работах Академии надписей и изящных искусств и в творчестве Андре Шенье".26 Однако возможности для развития этого нового направления в России были подготовлены, как мы уже указывали, самою русскою действительностью. Окутанное первоначально пышным плащом романтических увлечений, это новое направление было залогом будущего критического изучения античности. Но и на первых порах это изменившееся отношение к античности имело существенные последствия для истории нашей науки: под его влиянием началось усиленное археологическое обследование Северного Причерноморья - области, когда-то освоенной древними греками; оно же привело к возрождению пришедших было в упадок античных штудий в Академии наук; и наконец, им же было обусловлено создание первых оригинальных курсов по древней истории в наших университетах.

2. Начало археологических изысканий в Северном Причерноморье

Если мы теперь обратимся к рассмотрению того, как именно в начале XIX в. протекало изучение античности, то здесь на первый **[126]** план выступает археология; ее успехи, в свою очередь, послужили толчком к дальнейшему оживлению занятий древней историей в Академии наук и в университетах. Для развития археологии - тогда еще очень молодой науки - решающее значение имело твердое обоснование России на побережье Черного моря и в особенности присоединение Крыма (1783 г.).27 Богатая древними памятниками земля Тавриды, как стали называть эту вновь приобретенную область, оказалась с этого момента открытой для русских и западно-европейских путешественников, которые с живостью принялись ее изучать. Пример подала Екатерина II: она посетила Крым в 1787 г. Во время приготовлений к этому путешествию в Петербурге вышла в свет небольшая книжечка с кратким описанием тех мест, которые должна была посетить императрица; так появилось на русском языке первое описание Тавриды.28

Вскоре, по инициативе Академии наук, было предпринято первое научное обследование новых земель: известный натуралист академик П.-С. Паллас (1741 - 1811 гг.)во время своего второго путешествия по России (в 1793 - 1794 гг.) посетил Крым и составил его подробное описание.29 Палласа интересовали преимущественно вопросы естественно-научные, однако в своих заметках он касается и отдельных сторон исторической географии. В частности он первым попытался определить места древних греческих поселений, о которых было известно из сочинений античных авторов. За Палласом последовали в Крым и другие путешественники, как русские, так и иностранцы. Из русских отметим П. И. Сумарокова, который первым догадался отождествить нынешнюю Керчь с древним Пантикапеем,30 и не раз уже упоминавшегося нами И. М. Муравьева-Апостола,31 **[127]** из иностранцев - англичанку М. Гатри, ее соотечественника Э.-Д. Кларка и швейцарца Ф. Дюбуа-де-Монпере, обследовавшего Восточное и Северное Причерноморье уже в 30-х гг. XIX в.32 Опубликованные этими путешественниками записки не только внесли ясность в отдельные вопросы исторической географии Крыма, но и доставили крымским древностям европейскую известность, привлекли к ним внимание ученых и способствовали началу систематических археологических исследований в этом районе.

Надо, однако заметить, что первоначальное обследование археологических памятников в Северном Причерноморье осуществлялось главным образом неспециалистами - любителями, преимущественно из числа чиновников и офицеров, вынужденных по делам службы совершать частые поездки по местам, богатым всякого рода древностями. Недостаток знаний эти любители компенсировали энтузиазмом, увлекаясь поисками следов древней цивилизации. Время от времени им удавались отдельные находки, и тогда они на свой страх и риск проводили раскопки, стремясь добыть побольше интересных вещей. Так, еще в XVIII в. были проведены случайные раскопки на месте древней Ольвии, в Херсонесе, на Таманском полуострове. Разумеется, при этом не соблюдались никакие правила: место находки часто не фиксировалось, не снималось детального плана местности, не принималось во внимание чередование культурных слоев, а сопутствующий главной находке более скромный материал попросту выбрасывался. В результате открытый памятник становился просто ценой вещью, лишенной, однако, определенного исторического значения. Тем не менее значение этих первых находок было очень велико: они возбуждали в обществе интерес к археологии, привлекали внимание ученых, по поводу отдельных открытий возникали дискуссии, в ходе которых не только уточнялось культурное и историческое значение того или иного памятника, но и вырабатывались постепенно требования, предъявляемые к археологическим раскопкам. Поэтому сколь бы ни были значительными промахи, допущенные тогдашними археологами-любителями, мы не должны забывать и о тех больших заслугах, которые они имеют перед нашей наукой. К тому же среди этих любителей встречались порой и такие, которые по своему уровню **[128]** превосходили обычных дилетантов и приближались к ученым специалистам. О них следует сказать особо.

После Палласа и Сумарокова, в самом конце XVIII в. обследованием археологических памятников Причерноморья занимался инженер Л. Ваксель, издавший зарисовки ряда виденных им надписей, монет и скульптурных изображений.33 В начале следующего столетия археологические изыскания в этом районе проводили П. А. Дюбрюкс, И. П. Бларамберг, И. А. Стемпковский и П. И. Кёппен. Очень характерна для этого начального периода археологических исследований в Северном Причерноморье фигура Павла Дюбрюкса (1773 - 1835 гг.).34 Француз по происхождению, роялист, эмигрировавший в Россию, Дюбрюкс с 1809 г. жил в Керчи. Здесь он увлекся изучением местных древностей и, постепенно расширяя маршруты своих экскурсий, много сделал для выяснения археологической топографии Керченского полуострова; он же первым начал раскапывать керченские курганы с учеными целями. Для Дюбрюкса - скромного таможенного чиновника - археология была подлинной страстью. В последние годы своей жизни он сильно нуждался, однако и тогда не оставлял археологических занятий. "Я видел, - вспоминает Тетбу-де-Мариньи, - как Дюбрюкс, обремененный уже летами и движимый единственно любовию к науке, отправлялся производить свои исследования от Керчи до Опука на расстоянии 60 верст с одним куском хлеба в кармане; видел, как проведя две или три ночи в тех же пустынных местах, которые служили ему предметом изысканий, он возвращался домой, истощенный голодом и поддерживая существование лишь степными травами".35 Дюбрюксом была собрана большая коллекция античных вещей, которую он целиком пожертвовал вновь устроенному Керченскому музею. Им также было написано несколько ученых сочинений, в частности о следах древних поселений на европейском берегу Керченского пролива, однако, за недостатком средств, он так и не смог их издать.36

Отчасти под влиянием Дюбрюкса обратился к занятиям классической археологией Причерноморья и другой натурализовавшийся в России иностранец - Иван Павлович Бларамберг (1772 - 1831 гг.).37 Уроженец Фландрии, Бларамберг в молодости был офицером голландской, а потом английской службы. Позднее он переселился в Россию и с 1808 г. жил в Одессе, состоя на службе в различных ведомствах (с 1825 г. - чиновником по особым поручениям при новороссийском генерал-губернаторе). Занимая довольно высокое общественное положение, Бларамберг располагал боvльшими, по сравнению с Дюбрюксом, возможностями для занятий наукой и для публикации своих сочинений. Им было издано несколько специальных работ об археологических находках в районе древнего Пантикапея, об ольвийских монетах (с замечаниями об истории города Ольвии), о местоположении упомянутых у Страбона укреплений тавроскифов.38 Кроме того, в периодических изданиях Одессы постоянно печатались его небольшие заметки и статьи по самым различным вопросам, касающимся причерноморских древностей. Бларамберг был первым директором городских музеев, открывшихся в 20-х годах в Одессе и в Керчи. В них в 1-й половине XIX в. оказались сосредоточены крупнейшие коллекции античных вещей.39

Пример Дюбрюкса увлек и другого любителя древностей - русского офицера Ивана Алексеевича Стемпковского (1789 - 1832 гг.).40 Участник заграничного похода 1813 - 1815 гг., Стемпковский по окончании войны четыре года провел в Париже, где имел возможность изучать древние языки, историю и литературу. По возвращении из-за границы, все еще оставаясь на военной службе, Стемпковский не оставлял своих занятий классической древностью. Этому способствовало и пребывание в Одессе - центре причерноморского края. Стемпковский лелеял широкие планы проведения правильно организованных раскопок и всестороннего исследования обнаруженных **[130]** в Причерноморье памятников античной эпохи. Он мечтал о создании специального научного общества и местных исторических музеев, призванных заботиться о проведении изыскательских и охранных работ, об изучении, публикации и сохранении предметов старины, могущих доставить нам драгоценные сведения о далекой угаснувшей цивилизации. Свои мысли по этому поводу он изложил в подробной записке, поданной в 1823 г. новороссийскому генерал-губернатору графу М. С. Воронцову.41 В этой записке современные ученые справедливо видят важный программный документ, определявший перспективу развития классической археологии в России.42

С увольнением по состоянию здоровья в отставку (1826 г.), Стемпковский поначалу остался в Одессе, но уже в 1828 г. принял предложенную ему должность керченского градоначальника, что давало ему новые возможности для археологических изысканий в Крыму. Между тем имя Стемпковского еще раньше приобрело европейскую известность, после того как была опубликована книга французского археолога Д. Рауль-Рошетта "Греческие древности Боспора Киммерийского",43 в которой автор широко использовал материалы, доставленные ему Стемпковским. Составленная наспех и небрежно, книга Рауль-Рошетта сама по себе была сомнительным вкладом в науку, однако ее опубликование косвенным образом оказалось полезным: она вызвала появление двух обстоятельных рецензий П. И. Кёппена и Е. Е. Кёлера (об этих ученых речь еще пойдет ниже), которые сыграли большую роль в дальнейшем исследовании причерноморских древностей. Что же касается Стемпковского, то он с увлечением продолжал заниматься археологическими изысканиями в Крыму, стремясь, в частности, определить местоположение греческих городов, входивших когда-то в состав Боспорского царства. Собранные им и Дюбрюксом материалы до сих пор представляют известную ценность, поскольку после них такого рода исследованиями долго не занимались, а бывшие тогда еще на поверхности следы древних поселений с тех пор исчезли. В отличие от Дюбрюкса, не имевшего почти никакой специальной подготовки, Стемпковский хорошо знал древние языки. Это позволило ему **[131]** больше внимания уделить эпиграфическим находкам: в "Одесском вестнике" им был опубликован целый ряд греческих надписей.44

Почти в одно время со Стемпковским заинтересовался античными памятниками Причерноморья Петр Иванович Кёппен (1793 - 1864 гг.).45 Уроженец Харькова и воспитанник Харьковского университета, Кёппен по основному роду своих занятий был статистиком. Как ученый он приобрел известность своими трудами по этнографии России (впоследствии он был членом Петербургской Академии наук). Однако его отличала широта научных интересов; в молодости, да и впоследствии, в зрелые годы, он увлекался археологией, нумизматикой, палеографией, много сделал для развития отечественной славистики. В 1822 г. Кёппен опубликовал большую статью о древностях Северного Причерноморья.46 Статья эта, написанная в качестве рецензии на книгу Рауль-Рошетта, носила вполне самостоятельный характер и состояла из трех частей, посвященных соответственно древней географии, монетам и надписям Северного Причерноморья. В третьей части автор опубликовал ряд надписей, списанных им с большой тщательностью во время своих путешествий по югу России в 1819 и 1821 гг.; в их числе был знаменитый ольвийский декрет в честь Протогена. Своих занятий причерноморскими древностями Кёппен не оставлял и в последующем. В частности, в 30-е годы им было предпринято обследование остатков древних сооружений в южной части Крыма.47

По сравнению с любителями - путешественниками и археологами - ученые специалисты на первых порах принимали значительно меньшее участие в обследовании античных памятников Северного Причерноморья. Из тех немногих, кто заслуживает упоминания в этой связи, первое место безусловно принадлежит петербургскому академику Е. Е. Кёлеру, который живо интересовался причерноморскими **[132]** древностями и сам дважды, в 1804 и 1821 гг., посетил Крым. Кёлер был ученым филологом-классиком и отличался исключительной эрудицией. В целом ряде статей он касается различных вопросов античного прошлого причерноморских областей: трактует о надписях, монетах, произведениях искусства, религиозной и экономической жизни (включая рыбозасолочный промысел) античных городов Причерноморья.48 Особое значение имели написанные им для Академии наук критические разборы сочинений Рауль-Рошетта и Кёппена. В этих рецензиях, каждая из которых представляет в сущности говоря самостоятельное исследование, Кёлер вскрыл неточности, допускаемые археологами при описании античных памятников; он показал необходимость самого тщательного и всестороннего анализа каждой новой вещи, новой надписи, новой монеты и сам дал высокие образцы такого анализа (между прочим, на примере того же декрета в честь Протогена).

Критика Кёлера, подчас весьма суровая и, может быть, даже излишне придирчивая, несомненно способствовала более внимательному изучению древних памятников, находимых в южной России. С этой точки зрения совершенно оправдана та высокая оценка, которую дают Кёлеру последующие исследователи, в частности автор первого историографического обзора по Причерноморью П. М. Леонтьев, по мнению которого Кёлер "положил основание изучению древностей, находимых на юге России, и поднял его на высокую степень строгой, научной отчетливости".49 Заметим также, что вслед за Кёлером обратились к изучению причерноморских древностей, особенно надписей, и другие петербургские академики - Ф. Б. Грефе и Л. Э. Стефани; о них, как впрочем и о Кёлере, нам еще придется говорить в связи с обзором академических занятий античностью.

Из других петербургских ученых, которые своими работами способствовали развитию классической археологии в России, назовем еще А. Н. Оленина. О нем, как об общественном и литературном деятеле, мы уже упоминали выше. В ученом мире Оленин известен прежде всего своими работами по русской археологии и палеографии: ему удалось полностью прочитать и правильно истолковать **[133]** надпись на знаменитом Тмутараканском камне. В то же время он много занимался античною археологией, изучал вазовую живопись, написал ряд исследований об античном оружии. Он был большим знатоком всяческий реалий, и к его советам прислушивались многие ученые и переводчики. Гнедич консультировался с ним при переводе Гомера.50

Вернемся. однако, к Причерноморью. Археологические изыскания, начатые там фактически Дюбрюксом и Стемпковским, ограничивались в 1-й половине XIX в. одним, правда, наиболее важным в историко-археологическом отношении районом Керчи; да и в этом районе за недостатком средств работы велись первоначально в очень незначительном масштабе Перелом наступил в начале 30-х годов, когда обилие и замечательные достоинства находок обратили на себя внимание не только общества, но и правительства. Впрочем и здесь, как всегда, археология многим была обязана случаю: в сентябре 1830 г., в 6 км от Керчи, в кургане Куль-Оба, солдатами, ломавшими камень для строительства новых жилищ, был открыт склеп, содержавший погребение скифского царя IV в. до н. э. На месте раскопок своевременно оказались Стемпковский и Дюбрюкс, и последний составил обстоятельное описание обнаруженных в склепе вещей.51 Среди них оказалось много замечательных предметов - произведений греческого и местного, скифского искусства: богато отделанное золотом оружие, облицовочные пластинки из слоновой кости с выгравированными на них сценами из греческой мифологии, золотые пластинки со штампованными изображениями, золотые фигурки людей и зверей, различные драгоценные украшения (ожерелья, браслеты, ювелирной работы подвески с рельефным изображением головы Афины по типу Фидиевой), а также сосуды, среди которых выделяется знаменитая ваза из электрона (сплава золота и серебра) с рельефными изображениями сценок из скифской жизни (царь, выслушивающий донесение воина; скиф, помогающий товарищу перевязывать раненую ногу; еще два скифа, занятые щекотливой операцией удаления зуба; одинокий скиф, натягивающий лук).

Куль-Обские находки произвели сенсацию: стало ясно, что Северное Причерноморье, по крайней мере в некоторых отношениях, **[134]** может служить таким же источником для пополнения коллекций редких древних вещей, как Греция и Италия. Правительство, заинтересовавшись прежде всего этими возможностями, стало теперь щедро финансировать археологические изыскания. По его поручению, А. Б. Ашик и Д. В. Карейша - чиновники, ставшие монаршею волею археологами - начали с 1832 г. регулярные раскопки в районе Керчи. Впрочем, в первое время раскопки велись довольно бессистемно: в погоне за драгоценными вещами раскапывали главным образом курганные погребения, забросив обследование городищ, начатое Дюбрюксом и Стемпковским. В 30-х и 40-х годах в районе Керчи было раскопано несколько курганов со склепами, действительно содержавшими иногда богатые погребения. Большой склеп IV в. до н. э., служивший, по-видимому, усыпальницей для какого-то боспорского царя, был раскрыт в 1837 г. Ашиком при раскопках так называемого Царского кургана (в 4 км от Керчи). Правда, погребение здесь оказалось ограбленным, однако сама гробница с искусно сложенным коническим куполом, является шедевром древнего строительного искусства. Некоторые из склепов, украшенные замечательной стенной росписью, представляли особую художественную ценность: "склеп пигмеев", открытый Карейшей в 1832 г., с росписью, изображавшей битву пигмеев с журавлями; другой склеп, открытый Ашиком в 1841 г., с необычайно богатыми росписями, изображавшими различные сцены из мифологии и реальной жизни (среди последних - реалистические картины погребальной процессии, конного боя, охоты и даже гладиаторских сражений).

К сожалению, о сохранности раскрытых сооружений должным образом не заботились, места находок не замечались, так что некоторые из памятников, к несчастью, и оба расписных склепа, о которых только что было сказано, позднее затерялись и теперь известны лишь по описаниям открывших их археологов. Крайне прискорбно было и то, что найденные при раскопках предметы старины (различные сосуды, ювелирные изделия, монеты) толком не изучались, а их хранение и вовсе было поставлено из рук вон плохо. По свидетельству современника, видного впоследствии археолога и эпиграфиста Н. Н. Мурзакевича, многие вещи, "по произволу помянутых господ (т. е. Ашика и Карейши. - Э. Ф.), раздавались, кому им нравилось, или сбывались за границу".52

**[135]** Эти факты достаточно ярко характеризуют ту небрежность, с которой велись тогда археологические работы. Тем не менее нельзя отрицать, что раскопки 30-х и 40-х годов XIX в. дали большие результаты. Керчь стала родиной классической археологии в России. Керченский музей, открытый еще в 1826 г., начал живо наполняться памятниками древности. Позднее лучшие находки стали отправляться в Петербург, для пополнения коллекций Эрмитажа. Открытый как музей в 1852 г., Эрмитаж скоро стал средоточием всех интересных памятников, найденных на территории античных государств Северного Причерноморья. Ядром эрмитажной коллекции явилось собрание боспорских древностей, где одних только золотых вещей было, уже к концу 80-х годов, до 10000.

Раскопки в Крыму доставили новый богатый материал для исследователей классической древности; вместе с тем они послужили толчком к созданию специальных научных обществ, ставивших своей целью систематическое, всестороннее изучение древностей на территории России. В 1839 г. было основано Одесское общество истории и древностей, которое вскоре начало издавать свои "Записки" (с 1844 г.). Затем, в 1846 г., последовало учреждение Археологическо-нумизматического общества в Петербурге, которое вскоре было переименовано в Русское археологическое общество; оно также стало издавать свои труды -"Me***v***moires" (с 1847) и "Записки" (с 1849 г.). В ученой деятельности этих обществ вопросы классической археологии занимали видное место; в их трудах регулярно публиковались статьи и материалы, относящиеся к различным сторонам исторического прошлого Северного Причерноморья.53

В 40-х гг. стали появляться первые монографические исследования, посвященные отдельным греческим городам Северного Причерноморья: о Пантикапее - А. Б. Ашика,54 Г. И. Спасского,55 **[136]** П. П. Сабатье56 и, уже в начале следующего десятилетия, В. В. Григорьева,57 о Херсонесе - Б. В. Кёне,58 о Тире - П. В. Беккера.59 Вновь (после Байера и Татищева) ожил интерес к Геродотовой Скифии; этому вопросу большое исследование посвятил известный московский ученый критик, философ и историк Н. И. Надеждин.60 В то же время проблемами античной истории Северного Причерноморья больше стали интересоваться и западные исследователи; можно сослаться для примера на знаменитого немецкого ученого, основоположника современной эпиграфики А. Бёка, который во 2-м томе своего "Корпуса греческих надписей" (1843 г.) издал известные ему надписи Северного Причерноморья, сопроводив их обширнейшими комментариями.61

Наконец, в начале 50-х гг. появились первые обобщающие труды по классической археологии Северного Причерноморья, в которых подводились итоги предшествующим изысканиям и намечались задачи будущих исследований. К числу таких трудов должны быть отнесены: историографический обзор П. М. Леонтьева (в 1-й книге издававшихся им "Пропилеев" [1851 г.]), книга графа А. С. Уварова (сына известного министра) "Исследования о древностях южной России и берегов Черного моря" (2 выпуска, СПб.. 1851 - 1856), нумизматический труд Б. В. Кёне "Описание музеума покойного князя В. В. Кочубея" (2 тома, СПб., 1857) и в особенности подготовленное в Петербурге директором I (античного) отделения Эрмитажа Ф. Жилем и академиком-классиком Л. Стефани капитальное издание "Древности Боспора Киммерийского", с текстом на русском и французском языках, с роскошными иллюстрациями и планами (3 тома in folio, СПб., 1854). Это издание как бы подвело черту под целым полувековым периодом в истории изучения северопричероморских древностей. За это время в России выросла и окрепла, преимущественно на базе керченских раскопок, новая историческая дисциплина - классическая археология. Ее успехи главным образом **[137]** и послужили толчком к созданию важного правительственного учреждения - Археологической комиссии (1859 г.), которая теперь сосредоточила в своих руках руководство всеми археологическими работами в России. Располагая значительными средствами, Комиссия много сделала для дальнейшего развития археологических исследований в России, особенно в области эллино-скифских древностей. В изданиях Археологической комиссии, в частности в ее "Отчетах", которые стали выходить с 1860 г. (первоначально в двух вариантах - на французском и русском языках),62 вопросам классический археологии также уделялось первостепенное внимание.

3. Академическая кафедра классической филологии

Достижения, одержанные классической археологией в первые десятилетия XIX в., существенным образом повлияли на дальнейшее развитие русской науки об античности. Возобновились, в частности, пришедшие было в упадок после смерти Тредиаковского и Ломоносова занятия классической филологией и античной историей в крупнейшем научном центре России - Академии наук. Разумеется, свое слово здесь сказали помимо археологии и некоторые другие факторы. В частности, можно было бы указать на ту роль, которую сыграл в этом отношении немецкий неогуманизм: через литературу русская публика должна была знакомиться не только с общими идеями этого нового культурного направления, пришедшего на смену классицизму, но и с успехами немецкой классической филологии, чье окончательное формирование как науки было неразрывно связано с неогуманистическим движением (достаточно указать на фигуру Винкельмана, который был не только первым выдающимся представителем немецкого неогуманизма, но и зачинателем новейшей классической археологии и филологии). Однако решающее значение имело общественное движение в самой России: это оно дало мощный толчок развитию публицистики, вызвало повсеместное увлечение новейшими политическими теориями и философией, пробудило горячий интерес к литературе и таким образом **[138]** содействовало подъему гуманитарных наук, в том числе и таких, которые были связаны с изучением классической древности.

В 1803 г. был принят новый академический регламент, который положил конец одностороннему преобладанию физико-математических наук в Академии: история, вместе со стилистикой и политической экономией, вновь была включена в круг дисциплин, разработкой которых должна была заниматься Академия. Вскоре последовало учреждение в составе гуманитарного класса специальной кафедры греческих и римских древностей, которую, согласно новому уставу 1836 г., полагалось замещать двум ординарным академикам.63 Таким образом Академия наук вновь стала центром изучения античной истории и литературы, правда, уже не единственным, поскольку появились университеты.

Возродившийся в Академии наук разряд классической филологии в значительной степени окреп благодаря усилиям президента Академии Сергея Семеновича Уварова (1786 - 1855 гг.).64 В молодые годы он сам увлекался античностью, изучил под руководством видного филолога Ф. Б. Грефе греческий язык и даже написал несколько небольших сочинений на темы древней истории и литературы: об элевсинских мистериях, о позднегреческом поэте Нонне, которого он читал вместе с Грефе, о греческих трагиках и др.65 В 1813 - 1815 гг. Уваров принял активное участие в разразившейся на страницах русских журналов дискуссии о том, как надо переводить Гомера. Одним из первых он решительно высказался за применение гекзаметра и поддержал опыт Гнедича в этом направлении. Назначенный в 1818 г. президентом Академии наук, Уваров на первых порах проявлял большую заботу о нуждах Академии, содействуя, в частности, пополнению академических кадров новыми видными учеными. Однако этого увлечения наукой, равно как и приверженности к модным в начале века либеральным идеям, хватило ненадолго: после разгрома движения декабристов Уваров резко перешел вправо, став одним из столпов реакционного николаевского режима. Он продолжал оказывать свое покровительство академическим занятиям античностью, однако руководствовался при этом **[139]** не столько уже интересами науки, сколько расчетом - разрушительному натиску современных идей противопоставить отвлеченные занятия древностями, за счет античности укрепить позиции официальной академической науки.

В рассматриваемое время изучением античной истории и литературы занимались в Академии наук крупные ученые: упоминавшиеся выше Е. Е. Кёлер, Ф. Б. Грефе, Л. Э. Стефани и ставший академиком несколько позднее А. К. Наук. Все четверо были выходцами из Германии, однако их ученая и педагогическая деятельность теснейшим образом связана с судьбами русской науки. Первый из них - уроженец Саксонии Егор Егорович (собственно Генрих-Карл-Эрнст) Кёлер (1765 - 1838 гг.)66 в 1797 г. был приглашен на службу в подготовлявшуюся тогда к открытию Публичную библиотеку в Петербурге. Оттуда он перешел в Эрмитаж, где также сначала служил в библиотеке, а затем стал директором I (античного) отделения. С 1803 г. Кёлер состоял членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, а в 1817 г. был избран ординарным академиком по литературе и древностям греческим и римским. В течение ряда лет он был хранителем академического кабинета камней и медалей. Кёлер занимался многими вопросами древней истории, однако его главные интересы лежали в области искусства и археологии. Его статьи, печатавшиеся в "Мемуарах" Академии и выходившие отдельными брошюрами, были посвящены античным геммам, монетам, надписям; им была собрана уникальная коллекция гипсовых и серных оттисков с античных резных камней, которая состояла из десяти с лишним тысяч образцов. О его заслугах в области изучения северопричерноморских древностей мы уже говорили выше, и там же было указано посмертное издание собрания его сочинений, осуществленное Л. Стефани.

Большое значение для развития русского антиковедения имела деятельность академика Федора Богдановича (Христиана-Фридриха) Грефе (1780 - 1851 гг.).67 В Россию Грефе прибыл в 1810 г. и первое время занимался преподаванием греческого языка в Петербургской **[140]** духовной академии. С 1811 г. Грефе - профессор латинской словесности в Петербургском Педагогическом институте, а с преобразованием этого последнего в Университет - профессор Петербургского университета по кафедре греческой словесности. В 1818 г., по рекомендации Уварова, Грефе был избран членом-корреспондентом Академии наук, а через два года стал ординарным академиком по греческой и римской словесности. В Академии наук Грефе одно время заведовал Нумизматическим кабинетом, включавшим обширные коллекции античных монет, а кроме того произведения искусства - вазы, гипсовые слепки и пр. Однако, занятия этими вещными древностями не слишком его увлекали. Грефе был филологом по-преимуществу: его интересовали древние языки и литература, значительно меньше - собственно история. Из его крупных работ выделяется комментированное издание поэмы "О Дионисе" (Dionusiakav) позднегреческого поэта Нонна из Панополя (в Египте).68 Грефе также издал с подробными комментариями ряд греческих надписей, найденных в Северном Причерноморье.69 В России Грефе был одним из первых, кто всерьез занялся разработкою проблем сравнительного языкознания. Им было написано сочинение по сравнительной грамматике греческого, латинского и славянских языков;70 уже в зрелые годы он обратился к исследованию санскрита.

В отличие от Кёлера Грефе был не только академиком, но и профессором. В Петербургском университете он примыкал к группе либерально настроенных профессоров и за свою принципиальность, в частности за смелое поведение во время пресловутого "дела профессоров" в 1821 г., за свои глубокие знания и искреннюю любовь к науке пользовался большим уважением среди коллег и студентов. Более чем 30-летняя преподавательская деятельность Грефе оставила заметный след в истории нашего университетского образования: этому "ученому немцу" было обязано своими знаниями целое поколение русских филологов-классиков.

От Кёлера и Грефе перейдем к обзору ученой деятельности академиков младшего поколения - Стефани и Наука. Лудольф Эдуардович Стефани (1816 - 1887 гг.) был крупным для своего времени **[141]** филологом-классиком.71 Его любимыми предметами были античное искусство и археология: в этом отношении он напоминает Кёлера. В 1846 г., по инициативе Уварова, Стефани был приглашен в Дерптский университет профессором по кафедре классической филологии и эстетики. Через четыре года он переехал в Петербург и здесь был избран в Академию наук по кафедре греческих и римских древностей. В годы пребывания в Дерпте Стефани предпринял издание греческих надписей, собранных им во время своих путешествий по Греции.72 Позднее, в Петербурге, н обратился к изучению произведений античного искусства, хранившихся в русских музеях, а также материалов, добытых во время археологических раскопок в Северном Причерноморье. Плодом этой работы явился ряд исследований, посвященных античному изобразительному искусству, вазам Эрмитажа, боспорским древностям, а также общие описания античных коллекций Эрмитажа и Павловска.73 Долгие годы Стефани состоял членом Археологической комиссии, и его обзоры и исследования, посвященные археологическим и эпиграфическим находкам на юге России, постоянно печатались в "Отчетах" Комиссии и в "Бюллетенях" Академии наук. Особенно значительным был вклад Стефани в северопричерноморскую эпиграфику: вплоть до Латышева никто в такой степени не занимался изданием и восстановлением античных надписей Причерноморья, как Стефани.74

Выдающимся филологом-классиком XIX в. был Август Карлович Наук (1822 - 1892 гг.).75 Воспитанник университета в Галле, Наук уже в 40-е годы обратил на себя внимание критическим изданием фрагментов знаменитого греческого грамматика Аристофана Византийского (2-я половина III - начало II в. до н. э.).76 Но особую **[142]** славу в ученом мире он приобрел своими изданиями Эврипида и фрагментов греческих трагиков: этими изданиями мы пользуемся до сих пор.77 Тогда же Науком было опубликовано несколько статей, преимущественно критического характера, посвященных Гесиоду, Софоклу, Феофрасту, баснописцу Бабрию и др. В 1858 г. Наук избирается экстраординарным академиком Петербургской Академии наук. Он переезжает в Петербург, и с этого времени его имя оказывается столь же тесно связанным с русской наукой, как и с немецкой. С 1861 г. Наук - ординарный академик по кафедре классической филологии. В России он с успехом продолжает свои исследования и публикует целый ряд статей, касающихся текста Гомера, Софокла, Эврипида, Филодема, Гезихия, а также множество рецензий на труды западно-европейских и русских филологов. Им был также составлен небольшой, но очень содержательный курс античной метрики. Заслуги Наука особенно велики по части критики и восстановления текстов древних авторов: здесь он дал ряд ценных исследований, сохраняющих свое научное значение и в наше время.

Впрочем, как и Грефе, Наук не был только академиком: долгие годы (с 1869 по 1883 г.) он состоял профессором греческого языка и литературы в Петербургском Историко-филологическом институте и таким образом принимал деятельное участие в подготовке отечественных кадров филологов-классиков. У него прошли высшую школу в классической филологии такие в будущем светила русского антиковедения, как П. В. Никитин и В. В. Латышев.

4. Университетская наука об античности. М.С.Куторга и его школа

Наряду с Академией наук важными центрами изучения древней истории стали к концу рассматриваемого периода университеты. Их было теперь несколько: к основанному еще в предшествующем столетии Московскому университету прибавились в самом начале XIX в. университеты в Дерпте (1802 г.), Казани (1804 г.) и Харькове (1805 г.). Тогда же предполагалось открыть университет и в Петербурге, однако по ряду причин, главным образом из-за недостатка преподавателей, это оказалось невозможным, и ограничились устройством **[143]** лишь Учительской гимназии (1803 г.), которая вскоре была переименована в Педагогический институт. Последний в 1816 г. получил новое устройство, сходное с устройством тогдашних университетов (в связи с этим он получил новое название - Главный педагогический институт), а в 1819 г. окончательно был преобразован в университет. Несколько позднее, в 1834 г., был открыт еще один университет - в Киеве, а еще позже, на исходе рассматриваемого периода, - в Одессе (1865 г.).

Надо заметить, что на первых порах университетское преподавание древней истории не отличалось высоким уровнем. В то время на историко-филологических факультетах не читалось специальных курсов древневосточной, античной, средневековой и новой истории: существовал единый курс всеобщей истории, который весь должен был читаться одним и тем же профессором. Последний либо излагал подряд все части курса, либо выбирал себе для чтения какой-нибудь один период, более ему знакомый, а с остальными просил своих слушателей ознакомиться самостоятельно, по каким-либо пособиям. Очевидно, что при такой постановке дела профессора всеобщей истории должны были быть специалистами очень широкого профиля, однако на практике тех, кто преподавал тогда всеобщую историю в русских университетах, менее всего можно было назвать специалистами.

В ту пору из-за недостатка преподавателей кафедры всеобщей истории замещались людьми самыми разнообразными: здесь были и иностранцы, как правило, второстепенные французские или немецкие профессора, переселившиеся в Россию по политическим (эмигранты) или финансовым соображениям; и собственные, наспех подготовленные преподаватели - всеобщие историки столь же неопределенного профиля, как и их иностранные коллеги, но еще менее знающие и образованные; и, наконец, вовсе случайные люди - чиновники или литераторы, не имевшие ничего общего с наукой. По той же причине, из-за нехватки профессоров, а также ввиду недостаточной еще дифференцированности нашей науки, профессорам всеобщей истории нередко вменялось в обязанность читать лекции и по истории России и, наоборот, бывали случаи, когда кафедры всеобщей истории замещались людьми, о которых было известно, что предметом их занятий является, собственно, русская история. Разумеется, от большинства подобранных таким образом преподавателей всеобщей истории трудно было ожидать научного **[144]** изложения: их лекции оказывались бледными, поверхностными обзорами, часто - скучными переложениями каких-нибудь общих трудов (типа "Всемирной истории" А.-Л. Шлёцера)78 или еще более популярных учебников (например, И. К. Кайданова).79 Для того чтобы картина стала более ясной, скажем несколько слов о том, кто и как преподавал всеобщую историю в столичных университетах в первые десятилетия XIX в.

В Московском университете на протяжении ряда лет (с 1799 по 1823 г.)курс всеобщей истории читал профессор Н. Е. Черепанов, которого один из его слушателей именует в своих воспоминаниях "бичом студенческого рода". Ибо, продолжает автор, "он умервщлял в нас всякое умственное стремление к исторической любознательности, будучи сам воплощенною скукою и бездарностью".80 После Черепанова лекции по всеобщей истории читали одно время М. Т. Каченовский (в 1832 - 1833 гг.) и М. П. Погодин (с 1833 по 1839 гг.), оба известные ученые, однако в области русской, а не всеобщей истории. Впрочем, если пребывание Черепанова на кафедре всеобщей истории не оставило почти никаких следов, то этого нельзя сказать о Каченовском и Погодине. Первый, явившись у нас основоположником так называемой "скептической школы", несомненно должен был знакомить своих слушателей с новейшими критическими направлениями в западной историографии, в особенности с трудами Б.-Г. Нибура. Неслучайно, что в "Вестнике Европы", редактором которого был Каченовский, именно в это время была помещена обстоятельная и в принципе сочувственная (переведенная с французского) рецензия на "Римскую историю" Нибура.81 Что же касается Погодина, то он вскоре издал "Лекции по Герену **[145]** о политике, связи и торговле главных народов древнего мира" (2 части, М., 1835 - 1836) - переложение одной из книг геттингенского профессора А.-Г.-Л. Герена (1760 - 1842 гг.), который с конца 20-х годов стал важным источником учености наших профессоров.

В Петербургском университете всеобщую историю читал первое время Э.-В.-С. Раупах - выходец из Германии, более известный как автор популярных на немецкой сцене драм, нежели как ученый; и в лекциях его, по отзыву М. С. Куторги, больше было поэзии, чем науки.82 Все же Раупах был высокообразованным человеком (он окончил университет в Галле); он, несомненно, "имел обширные и глубокие познания, особенно в истории древней",83 и это выгодно отличало его от тех, кто скоро сменил его на кафедре. Лекции Раупха в общем были достаточно содержательными, и если, тем не менее, они приносили слушателям мало пользы, то виною тому была не их поэтическая окрашенность, а то, что они читались на латинском языке, малопонятном для большинства студентов. Как бы то ни было, удаление Раупаха из университета (в 1821 г., вместе с другими либерально настроенными профессорами) ввергло кафедру истории в состояние полного убожества. Номинально преемником Раупаха стал А. А. Дегуров - французский эмигрант (его фамилия, собственно, Dugour), до назначения своего в Петербургский университет бывший уже профессором в Харьковском университете и в Главном педагогическом институте; в Петербургский университет он попал благодаря близости своей с тогдашним попечителем учебного округа реакционером Д. П. Руничем. Интересуясь более своей административной карьерой, чем наукой (он был деканом историко-филологического факультета, а затем ректором университета), Дегуров лекций по истории почти не читал, а препоручил это дело своим помощникам - Т. О. Рогову и А. Л. Крылову, личностям совершенно бесцветным. Древнюю историю и тот и другой читали по учебнику Кайданова, ограничиваясь простым перечислением фактов, "без малейшего проникновения в причины и соотношения событий".84

Как любопытный казус отметим, что в 1834 - 1835 гг. всеобщую историю - специально средневековую, но с большими вводными экскурсами и об античности - в Петербургском университете пробовал **[146]** читать Н. В. Гоголь, тогда уже известный как автор "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Несколько общих исторических статей, опубликованных Гоголем в эту пору увлечения историей (они все вошли в его "Арабески"), показали, однако, что их автору более был свойственен талант художника, чем строгого мыслителя и ученого; его лекции, насколько можно судить по современным отзывам, свидетельствовали о том же. Гоголь не был подготовлен к ученой и преподавательской деятельности и через год с небольшим сам оставил университет.85

Примерно так же обстояло дело с преподаванием всеобщей истории и в провинциальных университетах. И здесь большинство преподавателей не отличались оригинальностью: в ходу были все те же пособия - Шлёцер, Кайданов, позднее Герен, но не забывали и совсем уже ветхого Роллена. Профессора годами читали свои лекции по одним и тем же старым запискам, даже не пытаясь подновлять их за счет новой литературы; прямое обращение к источникам было вообще редкостью. На этом фоне выделяется фигура Владимира Францовича Цыха, читавшего лекции по всеобщей истории сначала в Харьковском университете (с 1831 г.), а затем (с 1834 г.) - в Киевском.

Цых также в основном читал по Герену, однако при этом он не опускался до простого пересказа: по наблюдению В. П. Бузескула, который специально изучал студенческие записи лекций Цыха, последний "нередко дополнял Герена, пользуясь не только разными **[147]** пособиями, но и источниками";86 а это свидетельствовало уже о стремлении к самостоятельному изложению. Но главную заслугу Цыха составляло то, что он знакомил своих слушателей с новейшими достижениями европейской науки - с трудами и исследованиями не только Гердера и Герена, но и Б.-Г. Нибура, О. Тьерри, Ф. Гизо. Лекции Цыха - основательные и в то же время живые и нешаблонные (он читал свободно, без каких бы то ни было записок) - пользовались большим успехом. "Цых был идолом студентов", - вспоминает один из современников.87 "Только со вступлением на кафедру Цыха поняли мы истинное, научное значение истории", - признается другой из его слушателей.88 Цых рано умер (в 1837 г., 32 лет от роду); из работ, которые он успел опубликовать, обращает на себя внимание статья "Взгляд на историческую жизнь народа эллино-македонского"89 - едва ли не первое на русском языке сочинение, посвященное периоду эллинизма.

По сравнению с историей, преподавание другой части антиковедческих дисциплин - древних языков и словесности - стояло как будто бы на более высоком уровне. Это естественно, поскольку здесь непременным условием для занятия должности и, следовательно, барьером для дилетантов становилось наличие классического образования, более или менее сносное знание древних языков. Среди профессоров , замещавших в начале XIX в. университетские кафедры греческой и латинской словесности, можно обнаружить несколько несомненно крупных фигур - ученых и преподавателей, которые с честью могли бы выдержать сравнение с их европейскими коллегами. Так, в Петербургском университете кафедру греческой словесности с самого начала занимал Ф. Б. Грефе - уже известный нам академик. В Дерпте классическая филология также была представлена крупными учеными - К.-С. Моргенштерном, И.-В. Франке, Х.-Ф. Нейе. Харьковский университет мог гордиться именами блестящих латинистов - Х. Роммеля и И. Я. Кронеберга. Особенно видную роль в развитии университетской науки классической филологии сыграли Карл-Симон Моргенштерн (1770-1852 гг.) **[148]** и Иван Яковлевич Кронеберг (1788-1838 гг.) - оба не только авторитетные ученые, но и талантливые педагоги, выдающиеся университетские деятели (Моргенштерн в Дерптском университете был директором библиотеки, основателем и директором музея искусств, главою Учительского института, Кронеберг в своем университете был ректором).90 Оба много сделали для улучшения университетского преподавания древних языков и словесности; между прочим, Кронеберг составил грамматику и словарь латинского языка, которыми потом долго пользовались и студенты и гимназисты.

Будучи энтузиастами классической науки, Моргенштерн и Кронеберг не забывали пропагандировать ее и за пределами своих университетов. Учитывая интересы не только специалистов, но и любителей, они - одни из первых в России - предприняли издание специальных журналов, посвященных классическому искусству, литературе и философии. Собственно, это не были журналы в нашем смысле слова - это были нерегулярно выходившие сборники, составленные по большей части из сочинений самих издателей; их тематика не была строго определенной: преобладали статьи по классическому искусству и литературе, но встречались отдельные этюды, посвященные и новейшим, главным образом немецким, культурным течениям. Моргенштерн в 1813 - 1821 гг. издал 3 книжки своего немецкого журнала, обращенного к "друзьям философии, литературы и искусства" ("Doerptische Beytraege fuer Freunde der Philosophie, Litteratur und Kunst"); в свою очередь Кронеберг выпустил два продолжающихся сборника - "Амалтею" (2 части, Харьков, 1825 - 1826) и "Минерву" (4 части, Харьков, 1835). Эти своеобразные издания были далекими прообразами тех настоящих журналов по классической филологии, которые появились в России в конце XIX в.

Все эти перечисления не должны, однако, вводить нас в заблуждение относительно общего состояния университетской филологической науки: в целом положение здесь было не намного лучше, чем на исторических кафедрах. Действительно, надо учесть, **[149]** что те немногие крупные классики, которые имелись тогда в русских университетах, не были, как правило, русскими учеными в собственном смысле слова: это были иностранцы (главным образом выходцы из Германии) - "свои", натурализовавшиеся в России, или временно поступившие на русскую службу. Среди русских преподавателей они держались несколько особняком, от студентов их часто отгораживал языковой барьер (как правило, они читали лекции на латинском или своем родном языке). По этим ли, или по каким-либо другим причинам, ни одному из них не удалось оставить после себя школы учеников. С другой стороны, сами эти профессора - выученики германских университетов - были по большей части представителями старшего поколения немецких филологов-классиков, которые, вслед за учителем своим Х.-Г. Гейне, и в лекциях, и в ученых занятиях главное внимание обращали на эстетическую, художественную сторону древней культуры, не касаясь, как правило, реалий (особенно политического и социального характера). Их лекции были полны искреннего, глубокого преклонения перед бессмертной красотой античности, но в них чувствовался недостаток критики. Это особенно стало ощущаться к тому времени, когда и до России докатились отзвуки нового критического направления, зародившегося в Германии (работы Фридриха-Августа Вольфа, Б.-Г. Нибура и А. Бёка).

Неудовлетворительное положение с университетским преподаванием не только всеобщей истории и древней словесности, но и некоторых других наук, особенно обнаружившееся к середине 20-х годов, заставило правительство принять ряд энергичных мер. В 1827 г. было решено создать при Дерптском университете специальный Профессорский институт для подготовки специалистов, в которых нуждались русские университеты.91 Имелось в виду отобрать из всех университетов примерно два десятка лучших студентов или молодых выпускников и отправить их на три года в Дерпт с тем, чтобы они там прошли полный курс обучения по избранной специальности, а затем еще на два года за границу, для дальнейшего усовершенствования. Дерптский университет неслучайно был избран базой для такого института: в начале XIX в. университете в Дерпте, благодаря своим связям с западной, преимущественно немецкой, наукой, был лучше укомплектован преподавателями, чем **[150]** другие университеты России. Среди дерптских профессоров насчитывалось немало выдающихся ученых, в частности, как мы уже отмечали, и по классической филологии. Кстати, сам проект учреждения Профессорского института исходил от бывшего профессора Дерптского университета, видного математика и физика, академика Г.-Ф. Паррота.

Профессорский институт в Дерпте начал функционировать в 1828 г. Среди первых его слушателей трое - Д. Л. Крюков, М. С. Куторга и М. М. Лунин - избрали своею специальностью классическую древность. Обучение продолжалось не три, а четыре с лишним года. Под руководством опытных профессоров Моргенштерна, Франке и Нейе молодые люди получили прекрасную филологическую подготовку. В конце 1832 г. они "с замечательным успехом" выдержали испытания и были удостоены ученой степени: Куторга - магистра, а Крюков и Лунин - доктора философии. В начале следующего года, как и намечалось, они выехали за границу, в Берлин. Тогда же и на такой же срок был отправлен за границу и В. С. Печерин - молодой, способный филолог, ученик Грефе, незадолго до того окончивший Петербургский университет. В Берлине будущие профессора с головой окунулись в мир новой для них науки. Они слушали лекции Августа Бёка и Леопольда Ранке, с жадностью впитывали в себя идеи гегелевской философии (самого Гегеля они уже не застали, - он умер в 1831 г., - но лекции по философии продолжали читать его ученики - Геннинг, Михелет, Ганс). На родину они возвратились в 1835 г. и здесь получили назначения: Печерин и Крюков - В Московский университет преподавать древнюю словесность, а остальные двое - на кафедры всеобще истории: Куторга - в Петербургский университет, а Лунин - в Харьковский. Вместе с ними в те же 30-е годы вступили на университетские кафедры и другие молодые преподаватели, закончившие свое образование за границей. В их числе был, между прочим, Т. Н. Грановский, которому суждено было сыграть такую большую роль в идейной жизни следующих десятилетий. Новым, свежим дыханием европейской науки повеяло тогда в русских университетах. Вместе с тем обозначился коренной перелом в университетском преподавании науки о классической древности.

В Московском университете сразу обратили на себя внимание Печерин и Крюков. Владимир Сергеевич Печерин (1807 - 1885 гг.)92 **[151]** преподавал греческую словесность: "объяснял, - как значится в официальном отчете, - происхождение и дух поэм Гомера и читал с комментариями Одиссею". Его преподавательская деятельность продолжалась недолго, не более полугода, однако и за это время, "он успел внушить и слушателям, и товарищам чувства самой живой симпатии. Строгий ученый, он соединял с замечательной эрудицией по части классической древней литературы живое поэтическое дарование и нежную, хотя постоянно тревожную душу, болезненно-чутко отзывавшуюся на все общественные задачи своего времени ... "93 Судьба Печерина сложилась трагически: не вынеся мертвящей обстановки на родине (будем помнить, что речь идет о николаевском времени), он по окончании учебного года отпросился в отпуск за границу и более не вернулся. После долгих скитаний по Европе, сломленный духовно, он решил искать утешения в новой религии: принял католичество, долгие годы занимался миссионерской деятельностью в Англии и Ирландии и кончил дни свои капелланом при одной из дублинских больниц. По своей специальности он успел опубликовать совсем немного: несколько переводов из греческой антологии94 и статью "Взгляд на трагедии Софокла "Антигона" и "Аякс",95 - все это еще до первого отъезда за границу.

Бо***v***льший след оставила преподавательская и научная деятельность Дмитрия Львовича Крюкова (1809 - 1845 гг.),96 читавшего, помимо латинской словесности, также и курс древней истории. Историк С. М. Соловьев, бывший в ту пору студентом Московского университета, признается в своих воспоминаниях, что из всех профессоров, которых он слушал на 1-м курсе, Крюков, читавший **[152]** древнюю историю, произвел на него самое сильное впечатление: "Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность". На 2-м курсе Соловьев слушал Крюкова уже как профессора латинской словесности: "... и здесь он был превосходен, обладая в совершенстве латинскою речью и силою своего таланта возбуждая в нас интерес к экзегезису, столь важному для изучения отечественных памятников ..."97

Уже из этих высказываний Соловьева, кстати, вполне согласных с отзывами других современников, можно составить ясное представление о преподавательских и ученых достоинствах Крюкова: огромная эрудиция, мастерское изложение, умение критически препарировать исторический материал и в доступной форме донести его до слушателей, наконец, приверженность к "новым идеям", общая либеральная направленность - вот что отличало его от профессоров старой закваски. Особо отметим эту приверженность к "новым идеям": она привела к тому, что Крюков и другие молодые преподаватели, вернувшиеся из-за границы, сразу же составили в университете особую группу, противостоящую реакционерам типа М. П. Погодина и С. П. Шевырева.

Как ученого Крюкова интересовали преимущественно литература и история древнего Рима, причем в римской литературе его особенно привлекала фигура Тацита: "Агриколе" Тацита посвящена его докторская диссертация - "Observationes ad Taciti Agricolam" (Dorpati, 1832); это же сочинение Тацита, снабженное необходимыми примечаниями, было им издано позднее в качестве пособия для тех, кто изучает латинский язык и литературу (М., 1836). Связана с этими занятиями также и небольшая журнальная статья "О трагическом характере истории Тацита", опубликованная Крюковым в 1841 г.98 Статья эта не столько научного, сколько публицистического свойства, однако именно поэтому она важна для понимания общественных взглядов самого Крюкова. Выступление Крюкова с публицистической статьей, посвященной Тациту, несомненно стояло в связи с общим интересом прогрессивной русской литературы **[153]** к Тациту, как к обличителю всяческого самовластия. Однако Крюкова интересует в Таците не только эта сторона; анализируя рассказ древнего историка, он приходит к выводу, что деспотизму римских императоров противостояла ужасающая разнузданность черни; по его мнению, трагедия римской истории состояла именно в этом, пагубном для всего общества столкновении двух стихий - "произвола индивидуумов с произволом черни"; при этом он недвусмысленно указывает, что произвол черни - "этого стоглавого чудовища" - был сильнее, а следовательно, можно сделать вывод, и пагубнее, чем произвол индивидуумов. Подобные рассуждения превосходно характеризуют Крюкова - человека несомненно либеральных воззрений, чей либерализм, однако, был сильно скован страхом перед возможными и в современной истории выступлениями "черни".

Кроме этих работ, посвященных Тациту, и актовой речи о времени жизни Курция Руфа,99 у Крюкова есть еще одно сочинение, бесспорно, самое важное в его научном наследии: "Мысли о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном отношении".100 В русской литературе это первая серьезная попытка проникнуть в мир религиозных представлений классической древности. Собрав и тщательно исследовав свидетельства древних авторов о религиозном быте римлян, Крюков пришел к выводу, что в римской религии можно обнаружить два начала, две культовые формы, по самой своей сути противоположные друг другу, которые лишь позднее слились воедино; эти две формы - простая, символическая религия патрициев и пышная, сопряженная с кровавыми жертвоприношениями, антропоморфная религия плебеев. Первая форма - символическая или квиритская (от quiris - "копьё", которое надо понимать как символ, а не атрибут божества) - была местного, латинского, отчасти сабинского происхождения, вторая принесена из Этрурии. В связи с этим встает более общий вопрос о роли внешних влияний в формировании основных групп римского населения: признавая в целом латинское происхождение и патрициев и плебеев, мы не должны игнорировать известного сабинского влияния на первых и сильнейшего этрусского - на вторых.

**[154]** Таковы, в немногих словах, основные выводы Крюкова. Его работа (в немецком варианте, изданном под именем Пеллегрино) получила европейскую известность и признание. В затянувшемся споре о происхождении патрициев и плебеев выводы Крюкова послужили отправной точкой для создания оригинальной теории, видящей в патрициях и плебеях потомков различных этнических слоев (точка зрения Дж. Оберцинера, У. Риджуэя и некоторых других). Конечно, многое в этой теории может быть поставлено под сомнение, однако исходное положение о большой религиозной и культурной обособленности патрициев и плебеев, т. е. то, что было высказано еще Крюковым, сохраняет свое значение и служит важным дополнением к основной, принятой в нашей науке, теории Нибура.101

Исследование Крюкова о древнейшей религии патрициев и плебеев осталось неоконченным из-за преждевременной смерти исследователя. Учеником Крюкова и преемником его по кафедре римской словесности был Павел Михайлович Леонтьев (1822 - 1874 гг.)102 - тоже крупный ученый, хотя, как человек, гораздо менее симпатичный, чем его учитель. Воспитанник Московского дворянского института и Московского университета, Леонтьев получил под руководством Д. Л. Крюкова хорошую филологическую подготовку. Свое образование он завершил в Германии, в Берлине, где слушал лекции А. Бёка и К. Лахмана по классической филологии и Шеллинга - по философии. С возвращением из-за границы (в 1847 г.) начинается его преподавательская деятельность в Московском университете. Вскоре он защищает магистерскую диссертацию и назначается профессором (в 1851 г.), а еще через несколько лет (в 1856 г.) Петербургская Академия наук, признавая ученые заслуги Леонтьева, избирает его своим членом-корреспондентом.

Диапазон Леонтьева как ученого был очень широк: древнегреческая религия, античная скульптура и архитектура, археология Северного Причерноморья, экономическое и социальное развитие Рима, историография - вот перечень, притом далеко неполный, тем, которые его интересовали. Среди написанного им есть крупные исследования: **[155]** магистерская диссертация "О поклонении Зевсу в древней Греции" (М., 1850),несущая на себе печать сильного воздействия шеллингианской философии; три интересных очерка о греческой скульптуре, написанные для 1-й книги "Пропилеев" (М., 1851) - "О различии стилей в греческом ваянии", "Эгинские мраморы мюнхенской глипотеки" и "Венера Таврическая" (о знаменитой статуе Афродиты, приобретенной Петром I); фундаментальное, до сих пор сохраняющее свое значение, исследование о Танаисе - "Археологические разыскания на месте древнего Танаиса и в его окрестностях" (в 4-й книге "Пропилеев" [М., 1854]); наконец, первая в русской литературе работа по аграрной истории Рима - "О судьбе земледельческих классов в древнем Риме" (М., 1861). Относительно этой последней надо заметить, что ее написание стояло в прямой связи с современным общественным движением, с подготовлявшейся тогда в России крестьянской реформой. Отсюда, между прочим, и аналогии, которые Леонтьев проводит между римскими колонами и русскими крепостными крестьянами. Из историографических работ Леонтьева отметим уже упоминавшийся нами "Обзор исследований о классических древностях северного берега Черного моря" (в 1-й книге "Пропилеев") - незаменимое пособие для тех, кто интересуется историей классической археологии в России.

Леонтьев был не только ученым, но и общественным деятелем, издателем и публицистом, ратовавшим за всемерное развитие классического образования в России. В 50-х годах им было предпринято издание "Пропилеев", периодически выходившего в свет сборника статей по античному искусству, литературе и истории (всего вышло 5 книг [М., 1851 - 1856; изд. 2-е - М., 1869]). В "Пропилеях" печатались статьи как серьезного, исследовательского, так и научно-популярного характера; последним даже отдавалось предпочтение. Таким образом, Леонтьев продолжал традиции К. С. Моргенштерна и И. Я. Кронеберга, однако его издание больше уже напоминало правильно организованный журнал. "Пропилеи" выходили достаточно длительное время, ежегодно по одной книге; в каждой книге было два отдела: в первом публиковались статьи на собственно античные темы, во втором - обзоры новых книг и статьи по истории нашей науки. Но самое главное состояло в том, что в "Пропилеях" приняло участие большое число русских исследователей античности: помимо самого Леонтьева здесь публиковали свои сочинения такие видные ученые, как П. Н. Кудрявцев, И. К. Бабст, **[156]** М. С. Куторга, Н. М. Благовещенский, А. С. Уваров и др. Таким образом, впервые было осуществлено широкое сотрудничество русских антиковедов на основе периодически издающегося сборника, специально посвященного классической древности.

Справедливости ради надо заметить, однако, что то, что делал Леонтьев в интересах науки о классической древности, не всегда было продиктовано одной лишь заботою об этой науке: тут действовали и политические соображения. Леонтьев являл собой классический пример русского либерала, который под воздействием революционной обстановки на Западе и в России превратился в убежденного консерватора и реакционера. Отсюда - чисто практический взгляд на классическое образование как средство борьбы с "язвою материализма"; отсюда также и долголетнее сотрудничество Леонтьева с Н. М. Катковым (тоже, кстати, придерживавшемся когда-то либеральных взглядов), чей журнал ("Русский вестник") и газета ("Московские ведомости") стали с начала 60-х годов подлинными рупорами реакции. В "Московских ведомостях", соиздателем которых он был вместе с Катковым, Леонтьев опубликовал немало статей в защиту реакционной реформы начального и среднего образования, проведенной в 1871 г. графом Д. А. Толстым (ее итогом, как известно, стало создание в России классических гимназий, отличавшихся тем переизбытком классицизма, который в передовых общественных кругах вызывал одну лишь неприязнь). Как видим, то, что у Крюкова обозначалось лишь в зародышевой форме, у его ученика Леонтьева достигло полного развития - печальный, но закономерный конец.

К рассказу о молодых классиках, явившихся в Московский университет в 30-х и 40-х годах XIX в., надо добавить еще несколько замечаний о тех московских профессорах, тоже "молодых" и тоже принесших с собою новую, "европейскую" науку, которые, не будучи собственно антиковедами, много сделали и для отечественной науки об античности. Речь идет о блестящих представителях кафедры всеобщей истории, видных ученых и замечательных преподавателях - Т. Н. Грановском, П. Н. Кудрявцеве и явившемся несколько позднее С. В. Ешевском.103 Старший из них, Тимофей Николаевич **[157]** Грановский (1813 - 1855 гг.), начал преподавать в Московском университете в 1839 г. Его специальностью была собственно история средних веков; темам из средневековой истории посвящены главные труды Грановского - его магистерская и докторская диссертации. Однако значение Грановского определяется не столько этими немногими и не оставившими заметного следа в науке трудами, сколько его общественно-преподавательской деятельностью. Свои лекции - обычные университетские курсы и публичные чтения - Грановский сделал проводниками высоких идей образованности и гуманности. В то тяжкое для мыслящих людей время, когда "за запретом и отсутствием всякой политической деятельности интересы общества сосредоточились с особенной силой на литературе, на отвлеченных философских вопросах",104 лекции Грановского, знакомившие слушателей с новейшими течениями европейской мысли, пользовались огромным, исключительным успехом. Слушать Грановского являлись не только студенты, но и люди, прямо не связанные с университетом. Публичные чтения Грановского стали событием в жизни московского общества.

Разумеется, дело заключалось не только в насыщенности лекций Грановского новыми научными идеями; важно было то, как эти идеи преподносились, в какой цвет они окрашивались. Огромное впечатление производили на слушателей широта исторического кругозора Грановского, его взгляд на историю как единый органический процесс, его вера в неизбежное торжество прогресса, в силу разумных и нравственных начал в человеке, его независимость в суждениях, приверженность к новому, либеральному направлению, а главное - его глубокая человечность, его убежденность в том, что при оценке любых человеческих деяний, независимо от того, кем и в каких целях они были совершены, нравственной стороне должно придавать решающее значение. В смелом провозглашении с университетской кафедры идей гуманности и просвещения и состояло историческое значение лекций Грановского. Тем же целям служили и его литературные выступления - **[158]** его историко-художественные и историко-публицистические статьи и очерки.105 Среди них есть несколько таких, которые касаются античности: это - художественно-идеализированная характеристика Александра Македонского (в серии "Четыре исторические характеристики"); критические обзоры ряда новейших трудов по древней истории: немецких ученых - Б.-Г. Нибура, К.-В. Нича (о Гракхах), Ад. Шмидта и нашего - И. К. Бабста; наконец, интересный, но, к сожалению, оставшийся неоконченным, биографический очерк о Нибуре - интересный именно той симпатией, с которой Грановский рассказывает об ученом, в котором он видел "величайшего историка XIX столетия". В сущности говоря, Грановский был первым, кто по-настоящему познакомил русскую публику с жизнью и трудами Нибура, и за это также мы должны быть ему благодарны.

Эпизодически обращался к античности также Петр Николаевич Кудрявцев (1816 - 1858 гг.) - ученик и товарищ Грановского по кафедре всеобщей истории.106 Главной областью занятий Кудрявцева была собственно средневековая история, однако, подобно своему учителю, он живо интересовался и другими разделами всеобщей истории. При этом, как и Грановский, он придерживался того взгляда, что история не может и не должна быть чисто кабинетной наукой, и в исторических сочинениях, равно как и в лекциях, видел важное средство идеологического, нравственного воздействия на общество. Поэтому и у него также значительную часть научного наследия составляют историко-художественные и историко-публицистические статьи. Отметим, в частности, большую книгу художественных очерков "Римские женщины" (М., 1856; первоначально печаталась отдельными статьями в "Пропилеях" Леонтьева). Это, как значится в подзаголовке, - "исторические рассказы по Тациту". Даны художественные портреты пяти знатных римлянок времени раннего Принципата (I в. н. э.) - Агриппины Старшей, Мессалины, Агриппины Младшей, Поппеи Сабины и Октавии, а в приложение к ним - очерк о Нероне. Интересуясь прежде всего нравственным состоянием древнего общества, Кудрявцев неслучайно остановил свой выбор на женских типах Тацита. "Судьба женщины, материальная и нравственная, - замечает он в начале своего **[159]** сочинения, - нераздельно соединена с историею общества, среди которого она поставлена. С ним она возвышается, с ним же и падает. Скажем более: нравственный переворот в обществе ни на чем не отражается так живо и ярко, как на нравственном состоянии женщины". Прослеживая судьбы "тацитовских женщин", Кудрявцев показывает глубокое нравственное падение римского общества, свершившееся вместе с падением старого республиканского строя. Конечно, книга Кудрявцева - не исследование; это - литературная обработка Тацита, однако обработка, выполненная рукою талантливого мастера. Книга имела большой успех, она и сейчас еще не утратила своей художественной и познавательной ценности.

Сходный характер носят исторические работы другого ученика Грановского - Ивана Кондратьевича Бабста (1824 - 1881 гг.). Известный впоследствии как специалист по политической экономии, Бабст начал с занятий всеобщей историей. Его магистерская диссертация "Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения" (М., 1851) была первой в русской литературе работой, посвященной тому периоду греческой истории, который в нашем представлении ассоциируется с кризисом полиса. Переходя от одного политического деятеля к другому, Бабст прослеживает развитие политической борьбы в Греции на протяжении четверти века - от битвы при Мантинее (362 г.) до Херонейского сражения (338 г. до н. э.). Яркими красками рисует он упадок и разложение греческих полисов, показывает основания неизбежного торжества Македонской монархии над свободными греческими республиками. Работа Бабста. как он и сам это сознает, не претендует на то, чтобы быть "самостоятельным ученым исследованием"; достоинство книги в другом - в ярком и живом изложении, в мастерски составленных индивидуальных характеристиках (Эпаминонда, Исократа и Ксенофонта, вождя наемников Ификрата, Демосфена и Эсхина и др.). Это - научно-популярная работа в лучшем смысле слова, и такой она остается для данного периода греческой истории и по сей день.

Более оригинальным исследователем античности показал себя Степан Васильевич Ешевский (1829 - 1865 гг.) - ученик и преемник Кудрявцева в Московском университете.107 Научные интересы Ешевского были достаточно широки: он занимался и всеобщей, и **[160]** русской историей, однако главным образом его интересовало раннее средневековье, период зарождения западно-европейского феодализма. Это побудило его обратиться к изучению последних веков римской истории. Главный труд Ешевского - магистерская диссертация "К. С. Аполлинарий Сидоний" (М., 1855),108 где биография самого Аполлинария - галльского писателя и епископа - служит отправной точкой для характеристики культурной и политической жизни римской Галлии в то смутное время (V в.), когда совершалась окончательная ломка древнего мира и уже складывались начала нового, феодального общества. В центре внимания автора - жизнь высшего, аристократического общества, к которому принадлежал Аполлинарий, однако он не забывает и о других слоях населения; с сочувствием говорит он о тяжелом положении низших классов и в движении народных масс, подорвавшем государство изнутри, видит важную причину гибели Римской империи. Диссертация Ешевского - капитальный и самостоятельный труд, "плод собственного добросовестного изучения источников и критического отношения к трудам иностранных писателей".109

Кроме этой диссертации, античности касаются еще некоторые из опубликованных курсов Ешевского. Дело в том, что с началом своего преподавания в Московском университете (в 1858 г.) Ешевский задумал изложить историю западного средневековья в виде нескольких, последовательно сменяющих друг друга, специальных курсов. "По его плану, - вспоминает К. Н. Бестужев-Рюмин, - в продолжении 15 лет он должен был довести этот курс, начинавшийся временем падения Римской империи, до конца; тогда он думал снова возвратиться к началу и таким образом переработанные два раза курсы намерен был печатать".110 Смерть помешала Ешевскому выполнить этот план. Он успел прочитать и обработать лишь несколько начальных курсов; два первых, как необходимое введение, были посвящены Риму - народам, входившим в состав римского государства накануне его гибели (курс 1858 г., опубликованный под заглавием "Центр римского мира и его провинции"), и внутренней, главным образом культурной, жизни Римской империи (курс следующего года, опубликованный лишь частично под **[161]** названием "Очерки язычества и христианства").111 Оба курса составляли естественное развитие тех тем, которые были поставлены Ешевским уже в диссертации: темы внешнего распадения Римской империи и темы внутреннего, социального и духовного кризиса, который предшествовал этому распадению. В разработке этих вопросов Ешевский был пионером не только в России, но, в какой-то степени, и в Европе; заметим, в частности, что его общий очерк жизни римских провинций в эпоху империи был составлен за четверть века до того, как это было сделано западной наукой (Т. Моммзеном в пятом томе его "Римской истории").

Отдавая должное заслугам Грановского и его "школы" перед русской исторический наукой и русской общественной мыслью, признавая, что они оказали большое влияние на развитие отечественной науки всеобщей истории в целом, мы не должны все же упускать из виду, что занятия именно античностью никогда не были для этих ученых главными. Специальные интересы Грановского и его учеников - преемников его по кафедре всеобщей истории были связаны преимущественно с медиевистикой, и если им по долгу службы и приходилось читать курсы древней истории, то, надо думать, эти курсы сильно уступали в научном отношении их же лекциям по средневековью. С другой стороны, их печатные работы, касающиеся античности, также носили не столько исследовательский, сколько научно-популярный характер; немногие настоящие исследования, выполненные "школой" Грановского в области античности (труды Ешевского), касаются лишь одного, заключительного периода древней истории и обязаны своим происхождением не специальному интересу к античности, а желанию подробнее выяснить обстоятельства перехода от античности к средневековью. В общем надо признать, что если в преподавании одной части антиковедческих дисциплин - древних языков и словесности - в Московском университете в 30-х и 40-х годах XIX в. произошли существенные перемены, то в преподавании другой части - собственно античной истории - эти изменения были менее существенными и менее радикальными. За отдельными исключениями (Крюков) лекции по античной истории читались представителями кафедры всеобщей истории, из которых ни один не был специалистом - античником в собственном смысле слова. Отсюда понятно, почему в Московском университете в рассматриваемый период так и не сложилось **[161]** преемственной научной школы историков-антиковедов.

Иным было положение в Петербургском университете. Здесь перелом в преподавании всеобщей истории был связан со вступлением на кафедру Михаила Семеновича Куторги (1809 - 1886 гг.), которому и суждено было стать основоположником первой русской школы исследователей античности.112 В Петербургском университете Куторга начал преподавать в 1835 г., сразу же по возвращении из-за границы. В 1838 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию и вскоре был произведен из адъюнктов в экстраординарные профессора. Первые годы он преподавал только древнюю и средневековую историю; позднее, с назначением своим в ординарные профессора, стал читать все части всеобщей истории, включая и новую. В 1848 г. Петербургская Академия наук, признавая научные заслуги Куторги, избирает его своим членом-корреспондентом, и с этого времени деятельность Куторги оказывается в равной степени связанной и с Университетом и с Академией. В Петербургском университет Куторга преподавал до 1869 г., а затем перешел в Московский университет, где и читал лекции вплоть до 1874 г. Последние годы своей жизни Куторга провел в деревне, в своей усадьбе Борок (недалеко от Могилева), продолжая, однако, и здесь напряженно работать над завершением своих исторических трудов.

Научные интересы Куторги лежали преимущественно в области древней, именно греческой истории, хотя он неоднократно также обращался к сюжетам и средневековой истории, и даже нового времени. Куторга, по общему признанию, был "первым самостоятельным русским исследователем в области древнегреческой **[163]** истории",113 "первоначальником у нас науки об эллинстве".114 Уже первые работы Куторги показали, что с ним русское антиковедение вышло на широкий простор самостоятельных научных изысканий. Обе диссертации Куторги - магистерская и докторская - были посвящены одному из самых сложных вопросов ранней истории Афин - эволюции древнейшей племенной организации и связанному с этим возникновению первых сословий.115 С историографической точки зрения эти работы интересны тем, что в них впервые, по крайней мере в русской литературе, были сделаны попытки приложить основные выводы французской романтической школы, тогда - прогрессивного направления в исторической науке, к древнейшему периоду греческой истории. Отталкиваясь, в частности, от работ Ф. Гизо, которого он особенно ценил, Куторга доказывал, что важнейшим фактором древне-аттической истории было покорение пришлыми ионийскими племенами коренных жителей Аттики - пелазгов. Завоеватели одни только сохранили право иметь филы и фратрии, между тем как покоренные, лишившись своей племенной организации, стали просто народом земли - демосом. Потомки победителей со временем составили правящее сословие эвпатридов, тогда как остальная масса народа оказалась на положении зависимых геоморов. В этом - истоки социальной борьбы, связанной в дальнейшем с именами Солона, Писистрата и Клисфена.

Пафос исследований Куторги - в выяснении диалектического процесса развития, в признании за социальной, в данном случае сословной, борьбой решающего значения в истории образования Афинского государства. То, что эта диалектика в основе своей была механистична, что она опиралась на признание внешнего толчка - завоевания и из племенной розни выводила истоки розни социальной, не должно умалять достоинств ранних работ Куторги: во 2-й четверти XIX в., когда изучение социальной истории древности только еще начиналось, исследования молодого русского ученого означали серьезный шаг вперед в этой области исторического знания. К тому же, помимо общей концепции, работы Куторги были интересны и ценны своими конкретными выводами. Широко **[164]** используя сравнительный материал из истории древних римлян, германцев и славян, Куторга разъяснил многие особенности родо-племенного быта древних греков, и если не все его выводы могут быть приняты современной наукой, то важно хотя бы то, что он окончательно опроверг существовавшее тогда у некоторых ученых мнение о кастовом характере аттических фил.116 Через год после защиты Куторгой докторской диссертации в Париже вышел французский перевод его работы,117 и имя Куторги сразу стало известно европейским ученым. Долгое время исследования Куторги об афинских филах считались основополагающими и широко использовались такими крупными учеными, как В. Ваксмут, К.-Ф. Герман, Дж. Грот.

Другая область исследований Куторги - политическая история Афин и остальной Греции в архаический и классический периоды. Первой здесь должна быть названа большая работа Куторги об Афинах - "История Афинской республики от убиения Иппарха до смерти Мильтиада" (СПб., 1848), - работа, высоко оцененная современниками (между прочим, Н. Г. Чернышевским) и удостоенная Академией наук поощрительной премии. Спорным вопросам хронологии Греко-персидских войн посвящено другое сочинение Куторги - "Персидские войны. Критические исследования событий этой эпохи древнегреческой истории" (СПб., 1858). Это - самое обширное из сочинений Куторги, изданных при его жизни; оно также было переведено на французский язык и издано (в виде нескольких брошюр) в Париже в 1859 - 1861 гг.118 Главное внимание Куторга уделяет здесь критическому исследованию показаний Фукидида, Плутарха и Диодора; он пытается согласовать данные Диодора со свидетельствами других авторов и таким образом реконструировать **[165]** хронологию греческой истории V в. до н. э. Некоторые его выводы были восприняты позднейшими исследователями (например, Э. Курциусом в его "Греческой истории").

Было бы, однако, неверно думать, что интерес к внешней, политической истории преобладал у Куторги над всеми другими: не в меньшей степени интересовался он и внутренней жизнью древнегреческого общества, проблемами его социального и экономического развития, следуя в этом отношении примеру своего немецкого учителя Августа Бёка. Уже в "Истории Афинской республики" он обращает внимание на связь политических изменений в государстве с его культурным и торгово-экономическим развитием. В "Персидских войнах" он отводит много места исследованию таких специальных проблем, как виды собственности у афинян (разделение имущества на "видимое", т. е. недвижимое, и "невидимое", т. е. движимое) и деятельность трапезитов - древних ростовщиков и банкиров; этим вопросам посвящен третий, заключительный раздел работы. Но особенно обращает на себя внимание интерес Куторги к истории низших классов древнегреческого общества. Этой темы касается уже небольшое, специальное сочинение Куторги "Критические разыскания о законодательстве Алкмеонида Клисфена" (М., 1853), где предметом обсуждения служит известное свидетельство Аристотеля о том, что Клисфен "вписал в филы многих иностранцев и рабов-метеков" ("Политика", III, 1, 10, p. 1275 b 35 - 37). В целом же эта проблема трактуется в огромном, изданном уже после смерти автора, монографическом исследовании "Общественное положение рабов и вольноотпущенных в Афинской республике". Эта работа Куторги до сих пор остается одним из немногих в мировой литературе капитальных исследований о рабах и других категориях зависимого и полузависимого населения древней Греции.

Бо***v***льшая часть трудов Куторги, как мы уже могли заметить, связана с историей древних Афин - эта тема, бесспорно, была главной в его научных занятиях. В последние годы своей жизни Куторга усиленно работал над созданием единого, обобщающего труда, посвященного истории афинского полиса. Труд этот остался незавершенным, однако и то, что успел сделать Куторга, составило два объемистых тома, изданных в качестве посмертного "Собрания сочинений М. С. Куторги" (СПб., 1894 - 1896). Сюда вошло несколько отдельных монографий, которые редактор - племянник Куторги - объединил под общим заглавием "Афинская гражданская община **[166]** по известиям эллинских историков". Значительную часть первого тома составляет большая монография о рабах и вольноотпущенниках, о которой мы уже упоминали; во втором томе выделяется столь же обширное исследование о политической структуре древних Афин - "Афинская полития. Ее состав, свойство и всемирно-историческое значение".

Последняя работа имеет принципиальный характер: здесь доказывается существование в Афинах особой, и притом высшей у греков, формы политического устройства - политии, которая была введена Периклом и сохранялась вплоть до установления в Греции македонской гегемонии. Свой общий взгляд на характер и значение политического творчества древних греков Куторга выразил незадолго до смерти в следующих немногих словах (в письме к известному византинисту Г. С. Дестунису): "В своем постепенном и долговременном изучении истории Греции я дошел до вывода, что politeiva, т. е. гражданство или гражданская община, была высшим государственным строем, до коего достигли древние эллинские республики; и что в этой политии эллины выработали две идеи, составляющие их величие и неоспоримую собственность: идею свободы гражданина и идею свободы мысли. Эти две идеи и доставили эллинам всемирно-историческое значение, ибо они послужили основанием последовавшего успеха".119

Конечно, мы не можем разделить крайних выводов Куторги о политии, как особом виде государственного устройства. Совершенно очевидно, что к этим выводам Куторга пришел вследствие чрезмерной идеализации той "правильной", "упорядоченной" демократии, которая установилась в Афинах при Перикле. Однако было бы несправедливо не видеть во взглядах Куторги ничего другого, кроме обычного для умеренного либерала преклонения перед такой системой, где известные "свободы" осуществляются в рамках вполне надежного "порядка". В высказываниях Куторги чувствуется нечто большее, а именно глубокое, искреннее убеждение в том, что никакой общественный прогресс невозможен без свободы личности и свободы мысли. По крайней мере, указывает Куторга, без этого невозможен научный прогресс. "Нет необходимости доказывать, - писал он, - что свобода мысли есть первое и самое главное условие, без которого наука не только не разрабатывается и не процветает, **[167]** но вообще не зарождается".120

Вообще как ученый Куторга отличался философским складом мышления; его глубоко интересовали общие проблемы развития науки, а его взгляд на роль и общественное назначение науки истории отличался большой продуманностью и широтой. Конечную цель исторического исследования Куторга видел в выяснении общего хода человеческой истории, тех факторов, которыми она движется, закономерностей в смене общественных эпох. В то же время он считал необходимым для ученого сосредоточиться на исследовании какого-либо одного исторического периода, и его собственные специальные интересы постоянно были направлены на темные, еще не изученные разделы древней истории.

Как исследователь Куторга был безусловным сторонником критического метода. "Где нет критики, там нет и истории", - таково было его убеждение.121 В то же время он решительно выступал против крайностей гиперкритицизма, уже тогда захлестывавшего филологов Западной Европы. В особенности велико было его расхождение с современными критиками в оценке ранней греческой истории, достоверность которой он определенно признавал. "Мы думаем, - писал он в одном из сочинений, - что история древнейшего периода Греции не в такой степени недостоверна, как смотрят на нее теперь писатели, посвящающие себя ее изучению; что в повествованиях историков содержится истина, основанная не на изустном предании, а на подлинных исторических памятниках; что с древнейших времен существовала в Греции письменность, доставившая историкам возможность приобресть положительные данные; и что рассмотрение древнейших событий подтверждает эти положения, нисколько их не опровергая".122 Поразительные открытия, сделанные в области древнейшей археологии и эпиграфики в конце прошлого и в начале нынешнего столетий, подтвердили в значительной степени правоту этих воззрений Куторги.

Вместе с тем надо подчеркнуть большую актуальность выступлений Куторги против гиперкритицизма и в наше время, когда на историческую традицию древних, эту основу основ наших знаний об античном мире, обрушились новые волны скепсиса как со стороны **[168]** некоторых специалистов-антиковедов, в особенности англо-американской школы (примерами могут служить труды М. Фимли и Ч. Старра о начале греческой цивилизации),123 так и со стороны дилетантов - воинствующих ниспровергателей всего ствола древней истории. Мы имеем ввиду новоявленных продолжателей дела революционера-народника Н. А. Морозова, советских математиков М. М. Постникова и А. Т. Фоменко, чьи доклады и публикации наделали столько шума на рубеже 70-х - 80-х годов. Если Морозов в борьбе с религией пытался доказать неисторичность евангельского Христа, то новые его последователи распространили отрицание практически на всю античность - от Гомера и Геродота до Юлия Цезаря и Тацита.124 В полемике с этими ниспровергателями древней традиции можно было бы, по примеру Куторги, использовать не только серьезные аргументы, опирающиеся, скажем, на данные археологии и эпиграфики, но и апеллирующую к здравому смыслу насмешку, наподобие того, как это делал цитируемый Куторгой французский публицист Ж. Перес, который в шутку, но с серьезной миной, с помощью ложных этимологий и аллегорий опровергал историческое существование Наполеона и всего его окружения.125

Заключая характеристику Куторги как ученого, мы должны указать на еще одно замечательное его качество - любовь к своей науке, живой интерес к ее судьбе, к жизни и деятельности историков прошлого, в чьих трудах Куторга видел не просто собрание **[169]** необходимых материалов, но живое свидетельство человеческой мысли. Отсюда - глубокий интерес Куторги к истории науки, что нашло отражение в ряде его специальных исследований об исторических занятиях древних греков,126 об изучении греческой истории на Западе, начиная с эпохи Возрождения,127 о современном состоянии европейской исторической науки (очерк о Леопольде Ранке).128

Столь же высоко, как ученые труды Куторги, мы должны оценить и его преподавательскую деятельность. С вступлением его на кафедру в Петербургском университете наступила новая эпоха в преподавании всеобщей истории. О том, какое огромное впечатление произвела на современников преподавательская манера Куторги, лучше всего можно судить по отзыву проф. В. В. Бауера, бывшего одним из первых слушателей Куторги. "Во взгляде его на требования университетского преподавания, - рассказывает Бауер, -не было ничего общего с гимназическими взглядами и приемами его предшественников по кафедре. Источники и литература предмета с критическою их оценкою не входили вовсе в их план: у Куторги составили они основу его чтений. Несовместным с критическою методою, им усвоенною, представлялось также и следование каким-либо учебникам, которыми они руководствовались: не останавливаясь на изложении общеизвестных фактов, он, вместо того, стал знакомить слушателей с различными господствующими и господствовавшими научными на них воззрениями, старался показать связь этих фактов с предшествующими и последующими явлениями, осветить их, разъяснить их значение и представить таким образом живую и ясную картину постепенного развития человеческого общества ... Не груз имен и чисел выносили слушатели из его аудитории, а знакомились ... с методом научных занятий, с требованиями научного исследования. Такое преподавание, при даре изложения, естественно привлекало слушателей и, возбуждая в них самодеятельность, располагало к самостоятельному занятию предметом".129

К этому надо добавить только одно: Куторга был не только преподавателем, но и пропагандистом своей науки. Он непрестанно указывал на необходимость для каждого образованного человека **[170]** знания античной истории и культуры, а для русских людей в особенности - истории и культуры древней Греции, ибо, говорил он, "ни одно начало не произвело на русскую народность такого сильного влияния и не проникло так глубоко, как начало эллинское".130

Преподавательская деятельность Куторги не ограничивалась лекциями в университете: уже с конца 40-х годов он завел у себя на дому нечто вроде исторического семинара для желающих студентов. "Тут, - вспоминает тот же Бауер, - ... занимался он специальным разбором отдельных исторических вопросов, задавал темы студентам для разработки, разбирал сочинения, которые они представляли, и таким образом на деле знакомил молодых людей с требованиями и приемами исторической критики".131

Усилия Куторги не пропали даром: из его семинаров вышла целая плеяда молодых ученых, оставивших серьезные исследования в области древнегреческой истории. Можно назвать имена Вл. Ведрова, М. М. Стасюлевича, Н. А. Астафьева, В. В. Бауера, П. И. Люперсольского.132 Из них наибольшую известность приобрели позднее Стасюлевич и Бауер, правда, уже не трудами по классической древности, а как специалисты по другим, смежным разделам всеобщей истории: от античности Стасюлевич обратился к средневековой истории, а Бауер - к истории нового времени; оба также были профессорами Петербургского университета. Под сильным влиянием Куторги проходило также формирование научных интересов двух других выдающихся представителей науки всеобщей истории в Петербургском университете - В. Г. Васильевского, ставшего основоположником русской школы византинистов, и Ф. Ф. Соколова, с именем которого будет связано начало нового, эпиграфического направления в русской науке об античности. Таким образом, к Куторге, как к единому источнику, восходит целый ряд родственных научных течений - не только в науке об античности, но и в медиевистике, **[171]** в византиноведении, в изучении нового времени. Куторгу по праву можно считать родоначальником целого научного направления, за которым в последующем закрепилось название "Петербургской исторической школы".133

Нам остается сказать несколько слов о товарище Крюкова и Куторги Михаиле Михайловиче Лунине (1806 - 1844 гг.), который, как мы помним, в 1835 г. получил назначение преподавать всеобщую историю в Харьковском университете (здесь он был преемником Цыха, который за год до этого перешел в Киевский университет).134 Преподавательская деятельность Лунина продолжалась недолго - всего около 9 лет, однако она оставила яркий след в жизни Харьковского университета. Недаром называют Лунина "харьковским Грановским", имея в виду большое научное и общественное значение его лекций, доносивших до слушателей новое слово европейской науки. Свой предмет - всеобщую историю Лунин излагал в виде специальных курсов, подобно тому как это делали Куторга и московские профессора Кудрявцев и Ешевский. Особенно содержательными были его лекции по древней и средневековой истории: они-то и доставили ему славу "одного из лучших преподавателей всеобщей истории, какие когда-либо являлись в наших университетах".135

Громадная эрудиция, сказывавшаяся в отличном знании не только современной литературы, но и источников; внимание к фактам и вместе с тем стремление постичь основной смысл или, как тогда говорили под влиянием гегелевской философии, основную "идею" исторического развития; безусловное признание своеобразия отдельных исторических эпох; интерес не только к политической, но и к социальной истории, и даже признание решающего значения "народного начала"; высокая одухотворенность; наконец, способность ярко, в стиле популярных тогда романов Вальтера Скотта, живописать историческую обстановку, - вот качества, которые отличали **[172]** Лунина как ученого и преподавателя. О том, какое огромное воздействие производили лекции Лунина на слушателей, лучше всего можно судить по следующему признанию Н. И. Костомарова, который сам слушал Лунина: "Лекции этого профессора, - заявляет Костомаров, - оказали на меня громадное влияние и произвели в моей духовной жизни решительный поворот: я полюбил историю более всего и с тех пор с жаром предался чтению и изучению исторических книг".136

Как и Грановский, Лунин был преподавателем по-преимуществу; его ученые труды немногочисленны и почти все они носят не столько исследовательский, сколько историко-публицистический характер. На собственно античные темы Луниным написано только две работы. Одна из них - его докторская диссертация, изданная в Дерпте;137 она посвящена древнейшим жителям Греции - пелазгам, в которых Лунин видит выходцев из Финикии и Египта. Конечно, с этим тезисом современная наука едва ли согласится, однако по-своему работа Лунина все-таки интересна. Любопытно именно то, замечает В. П. Бузескул, "что он доказывал связь древнегреческой истории и культуры с Египтом и вообще Востоком, что он признавал взаимодействие стран восточной половины Средиземного моря и как бы предугадывал кое-что о той микенской эпохе, которая нам известна теперь благодаря раскопкам".138

Вторая работа - небольшая журнальная статья, озаглавленная "Несколько слов о римской истории".139 Здесь в сжатой форме Лунин мастерски рисует общий ход древней истории, говорит о судьбах Востока, об исторической миссии Греции, этой "посредницы между Востоком и Западом", и, наконец, о Риме, которому суждено было стать "общим вместилищем и проводником древних цивилизаций". Статья замечательна совершенно идеалистической, в духе Гегеля, концепцией всемирной истории: своеобразие цивилизаций, созданных народами древнего Востока, Греции и Рима, Лунин склонен, в конечном счете, объяснять различием в формах и степени развития "человеческого духа". Статья дает отчетливое представление о стиле Лунина, о его манере изложения - яркой, выразительной, не лишенной, однако, некоторой выспренности Например, **[173]** простое и ясное положение и необходимости для каждого культурного человека знакомства с римской историей автор развивает в целой серии искусно построенных периодов, которые заключает патетическим указанием на то, что "история римского народа близка и сродственна душе и сознанию всякого образованного человека, для всякого, кто еще не убил своего духа в тесной области грязной корысти и материального существования, чья грудь еще не загрубела против приветов высокого и великого в человеческой природе"!

Лунин не успел создать собственной научной школы. Его преемник по кафедре всеобщей истории Александр Петрович Рославский-Петровский (1816 - 1870 гг.)140 отличался широтою научных интересов, занимался статистикою, историей местного края и, специально, Харьковского университета, древневосточною и античною историей, однако, как кажется, нигде не был крупным исследователем. На темы собственно античной истории им было написано немного: разбор - совершенно некритический - "Лакедемонской политии" Ксенофонта и два общих очерка греческой истории - до и во время Греко-персидских войн.141 Заметного следа в нашей историографии эти работы не оставили.

Мы довели наш обзор примерно до рубежа 60 - 70-х годов XIX в., т. е. до той черты, с которой начинается новый этап отечественной истории (пореформенное время), а вместе с тем и новый период в развитии нашей науки. Однако, прежде чем двинуться дальше, оглянемся назад и измерим тот путь, который пришлось пройти, и тот уровень, который удалось достичь русской науке об античности к указанному историческому рубежу. Как мы видим, русскому антиковедению пришлось проделать большой и сложный путь развития, прежде чем оно оформилось в настоящее научное течение. Не сразу появились в России собственные школы исследователей классической древности: на выработку научных знаний, на создание преемственных научных направлений в Академии и в университетах **[174]** было затрачено около полутора столетий: весь XVIII и значительная часть XIX века. Прогресс в этой области исторического знания совершался медленно, но в конце концов цель была достигнута: к середине XIX в. русская наука об античности стала фактом. Обязанное своим возникновением общему культурному движению эпохи, отечественное антиковедение стало теперь самостоятельной отраслью знания, самостоятельной наукой, дифференцированной на ряд специальных дисциплин. В крупнейших научных центрах России - Академии наук, университетах, музеях - складываются преемственные школы специалистов-классиков: историков, филологов, археологов, искусствоведов. Для дальнейшего развития собственно исторических исследований особенно плодотворным оказалось то научное направление, которое с 30-х годов XIX в. сложилось в Петербургском университете; фигура М. С. Куторги завершает собою начальный период русской историографии античности, и с нею же русское антиковедение вливается в общее русло европейской науки.